Ис. Ф. Быкадоров.

Казак Тимофей Разин.

(Сказы про старобытье казачье).

▪▪▪▪▪▪▪▪

Прага, 1930.

Ис. Ф. Быкадоров.

Казак Тимофей Разин.

(Сказы про старобытье казачье).

▪▪▪▪▪▪▪▪

Прага, 1930.

Славянское Отд. при Типографіи A. Fišera, Strašnice 289

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Описываемые в сказе военные события 1616 г.: замысел Турции „сбить казаков с Дона", преградив в первую очередь им выход в море через западный рукав (гирло) Дона; посылка для этого в помощь Азову 1 тыс. янычар, под предводительством 3 пашей; захват донскими казаками в море 2-х турецких купеческих кораблей, после разгрома казаками указанного выше турецкого отряда, с применением казачьего „умысла" (маневра); гибель в этом бою 4 турецких каторг с 2 пашами; пленение казаками 3-го; пребывание его вместе с другими турецкими „начальными людьми" в плену „на окупу" в г. Черкасском, — все это историческая действительность, извлеченная из архивных материалов — Дел Моск. Посольск. Приказа (Гл. Арх. Мин. Иностр. Дел) за 1616–17 г.

Атаманы — Смага Степанович Чертенский, Епифан (Епиха) Родилов, Федор Татаринов (Татара), Исай Мартемьянов, Волокита Фролов — исторические лица, жившие в описываемое в сказах время. Все они в разное время в промежутке 1612—1632 г. были на Дону атаманами — Войсковыми, Главного Войска и станичными. Смага Чертенский был Войсковым Атаманом Донского Войска большую часть Смутного времени и позже до 1623 г. После него Войсковым Атаманом был Епиха Родилов.

В 1625 г. при взятии турецкой укрепленной башни во время штурма Азова он был тяжело ранен (при обвале башни), что помешало развитию успеха и овладению Азовом. После этого ранения Епиха Родилов, видимо, вскоре скончался — имя его более уже не встречается в исторических документах. В Смутное время он был одним из походных атаманов Донских отрядов.

Тимофей Разин был видным атаманом (старшиной) Донского Войска. Из исторических документов видно,

что в середине XVII в. он был одним из 2-х послов Донского Войска в Азове при заключении с Турцией мира. У Тимофея Разина, как известно, было 2 сына — Иван и Степан (знаменитый атаман Степан Разин). Донские историки считают последнего казаком Пятиизбянского городка (станицы), но по некоторым данным можно установить, что родился и вырос он, как и отец его, в г. Черкасском.

Главным ядром Донского Войска в XVI в. был Раздорский Остров, образуемый 2 устьями Северского Донца и Доном (с городками на нем — Раздорами Донецкими, или Верхними, Кочетами, Семикаракором и Бабеем, или Бабским)

В начале XVII в. ядро Донского Войска переместилось ближе к устью р. Дона (Азову) на Казачий Остров, образуемый р. Доном и рукавом его — р. Аксаем (около 50 в. длины и 20 в. ширины). На этом острове в описываемую эпоху существовали городки — Нижний (ранее называвшийся Нижними Раздорами, а позже Монастырским), Черкасский, Маныч, Бесергенев и, кроме того, юрты (поселения) — Смагин и Минин, из которых позже образовались городки — Богай и Мелехов.

Главным Войском, т. е. столицей Донского Войска с начала XVII в. являлся г. Черкасский с Нижним; правильнее считать Главным Войском все городки Казачьего Острова. Черкасский состоял из нескольких станиц (обществ), в том числе была татарская. В начале XVII в., как устанавливают исторические документы, в г. Черкасском существовала часовня, заменявшая церковь.

Для более или менее правильного представления о борьбе Донского Войска с татарами (ногайскими и крымскими) и турками, необходимо иметь в виду, что Донское Войско могло выставить в то время, всего 8—10 тыс. бойцов, а одно Крымское ханство, вассал Турции, выставляло до 60 тыс. всадников.

В тексте в кавычки взяты слова и выражения, позаимствованные из документов той эпохи, или слова казачьего говора.

Сказ 1.

Доля сиротская Тимоши Разина. Какой из сироты возрос добрый молодец, славный витязь Дона Тихого.

На роду талан свой даден каждому.
На роду судьба написана — всем по разному.

В годы малые судьба Тимошу не побаловала, осиротив его раньше времени. Прилетели черные вороны, Дона Тихого злые вороги, к куреню в городке у край острова, и в саду они затаилися. А во дворе у куреня Тимоша с Филею, однолетком своим, на конях из лозы вскач носилися. Как на добычу свою коршуны, они на них кинулись. Филя, за рубашонку схваченный, и конь его опрокинулись, а Тимоша побежал и завопив, закричал. Тимоши отца дома не было, был он на море в дальнем поиске. На призыв „свово" ненаглядного с криком бросилась его матушка. И остались у Тимоши в памяти — не в саду алый маков-цвет, не в степи о весне цвет лазоревый: материнская кровь на сырой земле с той поры ему вспоминалася. Через год с того его батюшка кончил жизнь свою в бою морском у Самсун-города*)

Опустилось тело грешное моря Синего**) в волны бурные, вознеслась в небеса душа праведная к святым мученикам и угодникам, Дона Тихого покровителям.

И спасли сберегли Тимошу от бед и от всяких на-

*) У г. Синопа на Анатолийском побережьи.

**) Синим морем в первой половине XVII в. казаки называли море Азовское и Черное.

пастей заступничество Божьей Матери перед Господом да старцев донских в молитве усердие. Вспоили, вскормили сироту городка Черкасского станичники со станишницами, его жителей добросердие. И возрос Тимофей, сын Иванович, Разин прозвишем, добрым молодцем, ратоборцем за славу и честь Дона Тихого, Донского Войска всего Великого.

Полынь-трава, ковыль шелковый кровью вражеской неединова рукой молодца обогрялися: материнская кровь смерть родителя добру молодцу незабвенными оставалися.

На удар рука у молодца стала крепкая,
Пуля его была беспромашная, всегда меткая,
Стрела его сагайдашная, как по меточке в грудь ввонзается,
Аркан его вокруг шеи коня с взмаха первого обвивается.

* * *

И приключилось с Тимошею необычное и хоть во истину оно совершилось и было то в нем всем привычное, а показалось бы небыльщиной, ежели не ведали б самолично о том все на Казачьем Острове.

Посылало Войско по весне станицы „за вестями" о басурманских замыслах. И привелось ехать в поиск Тимоше вместе с односумом, Филею, в станице в полтора десятка молодцев. Нарядило Войско в атаманы казака бывалого Чухрая Федора, есаула же Петра Калину, по обычаю сама станица выбрала. Отправилась станица из Черкасского зарей утренней, повыше его через Дон вплавь переправилась и потянулась степью к Манычу; держа свой путь от него поблизости, на „перелазах речных" надумала она недругов выслеживать.

К Петрову дню время приближалося. Зеленеет степь привольная. Серебром переливаясь, острова ковыльные колышатся. Стрекотанье „кузнецов", голоса птичьи из травы, из кустов, — отовсюду слышатся. У

края неба синего бегут „барашки“, переливаются. Стрепета, „дудаки“*) из под лошадиных ног вверх поднимаются. Наверху небо ясное — нет ни облачка. Краса Божья — степь раздольная! Птице, зверю дикому в ней — жизнь привольная. Да не ужиться и в ней казаку вместе с басурманином, как в гнезде одном орлу могучему с черным вороном.

Не мало времени уже миновалося, высоко солнце от края земли вверх поднялося: в пору ту, близко к полудню, станица с татарской шайкой и повстречалася, — видать было, как в „отножинку“ она спускалася; и стала станица ее прослеживать, прижимать к займищу,**) от степи отрезывать.

Вдвое было татарвы без малого противу станишников, да тем они не смущалися, атамана имели казака бывалого, да и сами не из последних молодцев собралися. А как к татарве меж тернов они пробралися, сотворивши крест и призвав на помощь Господа, в сабельки на нее и ударили. Сразил Тимоша татарина начального, конем же завладеть его ему не „подфартунило“. Односум Тимоши, Филя, в полон забрал татарина, хоть и сам был ранен пулею. Разогнали басурман станишники, из них не мало переранивши; взяли 3-х татар в полон да 2-х коней оседланых, в схватке той их заарканивши.

Да приключилась беда не малая и со станицею: пришлось ей потерять станишника. Погнался за татарином Петро Калина, на статного коня его позарившись да на засаду и налетел средь бела дня. Свалился он с конем, сраженным пулею, о землю головой своей ударившись. Скрутили назад Калине руки, пока молодец лежал без памяти, арканом увязали и, посадив на коня запасного, с собой умчали. Схатилися станишники да

*) Дрохвы.

**) Займище — заливаемая полой водой часть долины р. Дона.

с помочью уж опоздали — татары сгинули, пропали, и следов их не сыскали.

С добычей возвращалися станишники, а на душе не радостно, не весело, как „обмишулились“ и признаться будет совестно. Коль в бою станица молодца без помочи оставила, какая добыча б ни была, тем на Войско все уже она себя ославила. Тимошу ж ко всему кручинила досада — что не удалось добыть конька татарина сраженного а добыть его ему во как было нада: на Петров день и приодетым быть и погулять хотелось молодцу.

Да не все, что хочется, то и совершается,
И то случается, о чем не думается и не гадается,

Сказ 2.

Как птица степовая в водяную обернулася, а лошадка с казачьей грамоткой в городок вернулася.

Поднялось солнце в высь небесную, до бела распалившися, бежала молодца тень меж ног коня, под живот его схоронившися. В отножину станица переваливала. Глянули! А в ней пасется табунок — диких лошадок с пяток.

Забурлила, закипела кровь Тимошина, взыграло сердце у охотничка да и то представилось, как приоделся, погулял бы на Петров он день за казну за лошадку взятую. Пустил Тимоша коня свово, как с тетевы стрелу с натягу полного. Отцепивши аркан, стал сбирать его кругами рукою правою. За другом своим Филя следом поскакал. Да как за арканом рукою потянулся в пору ту и увидал — рука то его не действует, и назад он с горестью вернулся.

— „Куды там, и Тимоше не угнаться, — Чухрай станишникам промолвил, — хоть рыжий конь его из всех резвей и „отменитей“: не мало кони наши приморились, как из Черкасского пошли, они еще нами не

кормились“. — И на привал у дерева высокого станица остановилась.

Мчится Тимоша за тарпаном, с махом каждым все больше и больше приближаясь. Во всю несется чалый, да от коня рыжего, уже не отдаляясь. Вот... вот... еще, и на арканный взмет всего летит он за тарпаном.

Поднял Тимоша руку вверх и метнул своим арканом. Из рук молодца змея скользнула, и кольцом шею чалого обвила. Мчится Тимоша с ним бок-о-бок, — несутся на взволок. Надумал молодец сбить с ходу чалого и завернув назад, к станишникам пригнать и с ними тарпана „обротать“.

Да замышляется одно, а совершается другое. Глянул, а с боку наперерез его с бугра летит татар десятка с полтора. Назад взглянул, а за ним станишников — нет ни единого. И ясно стало молодцу, что от станицы он, ровно ломоть от пирога ножом отрезанный. Повернул Тимоша к Манычу и на чалого перемахнул, чтоб рыжий конь его передохнул. Понесся чалый, непривычное почуяв, прижавши уши, шею вытянув как птица при полете.

Да были кони резвые и у татарвы. Опередив других три басурманина гнались за Тимошей и насели на него, как на место „притинное“ он наскочил. Кровью алой Тимоши сабля обагрилась и сплеч у басурманина башка его скатилась, и в пору ж ту раздались два выпала татарских. Скакнувши раз-другой, повалился тарпан убитый. Да до того еще перескочил Тимоша на рыжего коня свово. Едва не сбило молодца так дернуло его, хватило; лишь конец аркана, за луку закрученный остался.

Взглянул назад Тимоша, — одни лишь головы мелькают над бурьяном и травой. „Знать и татарве я виден одной лишь головой“ — подумалось ему.

Глядят татары — был казак и нет его, как в землю провалился. „С коня гяур в траву свалился, истекши кровью“, начальный кричит татарам, — ищите — в кустах он схоронился“. С коней все соскочили, галдят

перекликаются, в кустах, в траве упавшего найти стараются. Свалился молодец, да не в траву, а к животу коня, чтоб скрыть, куда его скач направлен. А как за перелеском скрылся — вскочил в седло, и напрямик к реке пустился (блистала серебром она невдалеке). Надумал молодец вплавь через нее пуститься и на том боку от татарвы укрыться.

У берега остановившись, из-за кустов взглянул Тимоша. И в голове едва не закрутилось, — чего не ждал, то и случилось. Гомонил на том боку татарский табор. Там молодца не приметили еще, иль за своего приняли. Вильнул Тимоша в бок, и соскочил с коня на берегу, где камышей рос островок. Разделся „в мах", оставшись в нижнем, да саблю припоясал. Камышину сломивши под водой и, кусок ножом от ней отрезав, в „одёжу" схоронил. В узел ее скрутил, снятою с коня уздою, и к седлу его он „пригорочил". И своему коню он молвил: „Расстаться нам, мой друг прийдется: пути иного мной, как лишь уйти водой, теперь уже не найдется. С грамоткой моей скачи-лети, мой верный друг, в Черкасский". Промолвил и коня по шее хлопнув, взмахнув пугнул его руками. Скакнул конь рыжий раз-другой, и скрылся за кустами.

Срезал Тимоша камышину и два куска от нее отрезав наскоро очистил и камышинкой отколотой перепонки в них прочистил. Окончив то, Тимоша перекрестился и, камышину взявши в рот, другую про запас заткнув за пояс, в воду погрузился. А как в воде он скрылся, то из нее уже не появлялся, лишь конец торчавший по воде тихонько подвигался, и за островком камышинка вскоре скрылась, лишь вода слегка еще рябилась.

Вскоре и татары прискакали. С коней скочивши, — следов в траве искали, галдели, меж собой ругаясь с татарвой на том боку перекликаясь. Татарин на дерево взобравшись, коня казачьего приметил и знак о том дал басурманам, и вслед за ним все, на коней вскочив, помчались. Да не догнать им было: конь рыжий

был без седока, виднелся чуть издалека — ушел уже он с версту.

***

Вечернею зарей вернулася в Черкасск Чухраева станица. О пропавших молодцах все, охая, жалели, душой о них болели. Надежды не теряли, что Тимоша возвернется — коль у молодца конь цел, не ведомо еще, как дело обернется, а Калину почти что „поминали".

А на другой день в Черкасском по утру — слышат люди — лошадка бегает и ржет. Поймал ее станичник и на майдан ведет. Коня Тимошина признали, и увидавши узел „притороченный" к седлу, дивились все и, что бы значило, гадали. А как узел отвязали, разворачивать его стали, чтоб им одежа показала, не был ли Тимоша ранен, камышинка из нее и упала. Взял ее атаман Родилов в руку и на конец обрезанный взглянувши, промолвил, усмехаясь:

— „Не удалось, станишники, молодцу от коршунов улететь птицей степовою, так уплывет от них он водяною, иль как вьюн „из вентеря" уйдет. Такую грамотку не написать, нам не прислать и думному дьяку, — то не по московскому уму. Распрашивать станишники не стали и без того, в чем дело, все видали. И велел атаман Родилов есаулу легкий струг немедля снарядить и вверх по Дону плыть, чтоб оказать Тимоше помочь.

Сказ 3.

Как на свете белом и то совершается, о чем не думается, не гадается.

Долго Тимоша по Манычу вниз плыл, и на берегу в траве лежал, на солнце греясь, и с камышинкой во рту сидел в воде и на дерево взобравшись, вокруг с него глядел — что и как, и сам он где?

Заря вечерняя уже потухла и полноликий месяц на небе блестел. Вниз Манычем плывя, приметил молодец — вниз по реке костер виднеется невдалеке.

— „Свои, иль татарва? Надобно проведать. Да где костер виднеется, там и еда имеется!“ Подумалось Тимоше, не евшему с утра.

Костер проплывши, Тимоша вылез из воды и на вербу ветвистую взобрался — слыхать было, как у костра шум, гомон раздавался. Глядит он — и что же видит? Сидит татар десятка с полтора, галдят, ругаются. Видать, недавно повечерели они: мослы об'еденные освещает месяц с высоты. Дал „зык“ начальный. Замолкли все, и в пору ту раздвинулись кусты.

И глазам не верилось Тимоши, что увидать ему пришлося. Из кустов Петра Калину привели, арканом связаны его были руки. И стала татарва его допрашивать через московского туму*) — „Награду не малую получишь, ежели, не потаясь, все поведаещь ты нам, и делу нашему послужишь“, — Тимоша услыхал.

— „И чего начальный твой, спроси, так хрюкает свиньей, — Калина отвечает, — казак и без того породу свиную вашу различает — и без хрюканья ее видать. Ну вопрошай, что надобно вам знать — поведаю о всем вам по казачьи.“ И стали спрашивать Калину — пошли ли казаки в поход на Сине море, и много ль всех стругов пошло, и сколько в Черкасском казаков собралось, и по уходе в море, много ль их осталось?“

И говорит Калина басурманам: „Пошли в поход морской тому с неделю, а с похода возвернулись — позапрошлым летом. А казаков в Черкасском с полсотню тысяч всех собралось, а по уходе в поход на море, сто тысяч их осталось. А сколько их теперь, „пущай“ сам хряк ваш „сметит“**). Промолвил то Калина и сам глядит с усмешкой.

Вскочила, загалдела татарва, потрясая кулаками. Дал зык начальный, и молодца схватили, на живот

*) Тума — изменник, перебезчик; тумами называли и детей, прижитых татарами от русских (московских) пленниц.

**) Сметит — сосчитает.

его свалили и плетьми „стегать“ его начали. Да ни стона, ни звука от Калины они не услыхали. И силой посадили его они на колени.

— „Последний сказ и воля наша, — Тимоша, на раките сидя, слышит, глядит во все глаза, а сам не дышет, — не исполнишь — погибнешь лютой казнью. Проведи нас тайно под городок Черкасский и пособи ты нам угнать табун казацкий, за то получишь волю. Не исполнишь — заранее кляни свою ты долю“.

Нахмурился Калина, на лбу морщины сдвинув, и в ответ молвит татарве: „Ишь, каким, ведь молодцем глядит, на ежака его верхом бы посадить, да наверняка не усидит. Ишь, лопоухий посулами замыслил казака склонить к измене. Эй вы, свиные рыла подымите — и на древо стоячее, вы поглядите“, — и мотнул Калина головой туда, где сидел Тимоша схоронившись, и все к дереву тому поворотившись, глазами вставились своими.

Готов уж был Тимоша скакнуть с ракиты и кинуться к воде: вот-вот его откроют, и быть беде — татары бросятся, завоют... Калина ж молвил: „Попробуй из вас любой ракиту с корнем вырвать. Не в мочь? И всем собравшись нету силы? Так не вырвать и у меня измены вам, ни вашими посулами, не пытками, и у краю моей могилы. А потужитесь чрез меру — и брюхо надорвете и штаны свои порвете“.

Была истерзана на молодце рубаха. По спине и по груди сочилась кровь. Глядел Калина не смущаясь и без страха, лишь одна к другой сдвигалась бровь. Вскочил начальный злобой пыша, загалдела татарва, один другого как будто бы не слыша. Ругались, чуть не передрались. Но вновь Калину плетьми стегать, иль по иному истязать не стали, опасались, знать, что на коне казак не усидит, и замыслу табун угнать — не пособит.

— „Начального последний сказ, — Калине тума молвит, — упрямишься, бахвалишь, так на утро всего за ковш воды все нам ты скажешь и все, что на-

добно, покажешь, или лишишься своих глаз“. И снова молодца схватили и уже теперь на спину повалили: набили рот ему полон солью и нос при том зажали, и как не отбивался, все он проглатил, противиться тому и Калине было свыше сил. А после за кусты его татары оттащили.

— „Ну, татарва проклятая, сегодня ж будет вам расплата“, промолвил про себя Тимоша, по траве к воде сползая.

Лежит в кустах Калина, мучимый жаждой, болью; спина горит; нутро огнем пылает, снедаемое солью. „Помоги, Владычица, от недругов избавиться, — молится Петро, — живот мне свой спасти. Обет ты мой прими: в год нынешний на поклонение к тебе отправиться, и вклад в твою обитель принести. А ежели прервать живот мой воля Божья, его мне не спасти, пошли мне смерть, Заступница ты наша, чтоб казачьей чести мне не потерять и Войску мне не повредить, чтоб чистым на суд пред Господом предстать“.

Усердно с верой помолившись, лежал Калина на боку, головой своей на куст склонившись. Минулое пред ним, как вихорь проносилось, и перестал уже он разбирать — вспоминалось ли ему, или снилось.

Вдруг вздрогнул молодец: во сне-то был как будто зов любимой, а на яву — был слышен явно „зык“ совиный. Зыком тем обычно казаки перекликались, весть друг другу тайно подавая, ежели от недругов они скрывались. — „Да откуда ж мне помочи прийти, — Калина усумнился, — теперь станичникам меня уж не найти: кружили со мною долго по степи и в другую шайку передали, давно следы мои они уж потеряли. Да взять и то — над водою сова не зычит, не летает низко, а зык раздался у воды совсем, ведь, близко?.. Измучившись от надежды и от сомненья, заснул Калина, уж, не ожидая избавленья...

— „Да пей же, освежись, Петро, скорей, это я — односум твой, Тимофей“, — над головой Калина шопот слышет и чует кто-то дышет. Очнулся молодец и

стало ясно: кто над водою зык подавал ему совою. Напоил Петра Тимоша, и ножем меж рук его полосанул, и спала с рук того тяжелая ноша. Возрадовался Калина, воспрянул духом, и слышет шопот над своим ухом:

— „С сторожевым я уже покончил. Уйти с тобою мы можем и водою; да без коней „зазорно“ нам вертаться да и за угощение твое нам надо расквитаться. Доедешь ли до Черкасского ты „верхи“? — „Да, а то нет, — Калина отвечает, — что я тебе, баба, что ль перед родами — ишь беда какая, что, малость спину испятнили, боясь что я еще боле осерчаю, по мякоти меня они не били.

И поведал Петро Тимоше, что у татарской шайки пасутся кони близко за кустами, их всего один татарин сторожит, под ракитой он в траве лежит. Проведал и Калина от односума, за угощенье его расквитаться у того была какая дума.

Прополз Тимоша к татарве, вокруг костра потухшего лежавшей, и получше у них себе одежу выбрал. — „Не вертаться ж мне в Черкасской почти что голым“ — при том подумал. Да еще 2 сабли прихватил, одну Калине в дар, другую себе взамен, как плыл, пропавшей; суму с харчами прицепил, да еще кое-что собрал у татарвы в повалку спавшей. Калина ж в пору ту татарина сторожившего коней свалил. Двух лошадок, Петро с Калиной заседлали, а остальных треногами и арканами в 2 табунка они перевезали. „Перекстились“, помолились односумы и в путь-дороженьку пустились. А как версты с две они ушли, то и едою подкрепились: печеную бараненку с чуреками в суме они нашли.

Небеса уже зарею занимались, как к Дону молодцы добрались. Струг встретив посланный навстречу, с помочью его на Казачий Остров переплыли, а на нем они уже почти что дома были: до Черкасского уже было рукой подать, было над ним уже дымки видать.

Как на сбор, иль на пожар народ сбирался на май-

дане. Весть неслась по городку, что пропавшие молодцы вернулись, да еще и коней с собой пригнали на аркане. И на молодцев и на коней взглянуть всем не терпелось и с приветом молвить молодцам слово доброе хотелось.

А после полудня знахарка Власьевна Калину врачевала. „Зелье“*) и травы долго кипятила, остудив тем варевом Калины раны долго обмывала, после „маслом боговым**) смазав раны и трижды дунув, перекстила, а пред тем молитву, или заклятье прочитала.

А в вечеру Тимоша Разин с Петром Калиной у атамана Войска Главного за „вечерею“ сидели, не одну чарку вина горячего с атаманом пропустили. Тут же кормилица — ясырка Марья, с дочкой Глашей и дочь атаманская Наталья были. И они выпили медку за спасшихся во здравье. А после поведали молодцы, что с ними приключилось, как отбиться от станицы им случилось. Поведал Тимоша, как про дерево стоячее он услыхал и, как татарва на него уставилась, он увидал, так Калине чуть-чуть не закричал: „Стоячая дубина ты еще перстом бы показал!“, и тем себя с Калиной едва не погубил. Как услыхала то дочь атаманская Наташа, то и закатилася от смеха, да и всем с того была не малая потеха, а после и промолвила: „Не стоячая дубина, а стоян могучий — Петро Калина“.

И привелось за ним прозвище — стоян, а внуки и правнуки (два рода от сынов его пошло) одни Калинины, другие ж Стояновы уж стали прозываться.

Приоделись Тимоша и Стоян-Калина, да и погуляли ж на Петров день они, вина чуть не „колдобань“ с большего ливня со станишниками они выдули пируя.

Да и не такие еще дела бывали у казаков, да только чудно было то, что в один день все то случилось и с молодцем одним все приключилось.

---

*) Зелье — порох.

**) Лампадным.

Сказ 4.

Каков талан молодцу был от Господа дан.

То не диво Войску Славному — удалой боец, добрый молодец, много их было в годы старые — и затейливых и удачливых, знатных силой своей и ухваткою, казачьим вежеством и повадкою. Диво-дивное Тимоши талан — талан песельный. Нету большего, да и подстать ему, на всем острове, и на всем Тихом Дону — с низу до верху*), с верху до низу. Веселит карагод песня молодца, матерым казакам сердце радуя. Горячим вином**) по жилам молодца она разливается; как от меду хмельного у красной девицы высоко от ней грудь вздымается.

Соберутся ввечеру атаманы-казаки на пир-беседушку, кровь казацкая молодецкая от речей ли, вина ль хмельного разыграется, и промолвят они ласково: „Заведи-затяни нам, Тимошинька, песнь старинную про дела дедов прадедов, дела ратные, про казачью жизнь стародавнюю, что была на Дону у нас в пору давнюю". Заведет-запоет Тимофей, сын Иванович, звонким голосом, все затихнут вокруг его слушая, ежли надобно ему подтягивают. Не одна слеза у стариков в пору ту из глаз скатывалась: своя молодость, дела ратные, все минулое вспоминалося, и не раз при том ими сказывалось: „Да, большой талан нашему молодцу, как и деду его, Дмитрию Лаврентьевичу, дан от Господа".

Были и особые песни у Тимофея Ивановича, самим они им были сложены. Певал-игрывал он их вместе с Филею, и сам — друг певал, поздним вечером или ночкою — как, бывало, месяц златой вверх поднимется поглядеть с высоты на казачье житье, заглянуть в ку-

---

*) Верх Дона, Верховое Донское Войско, к северу (вверх) от Цымлянской. Низ — Низовое Донское Войско — от Цымлянской до устья р. Дона.

**) Горячее вино — хлебное вино, водка.

рени, обежать все сады и левадушки, окунуть-искупать свой лик в водах ласковых.

Поднималась песня молодца вверх — в высь заоблочную. Опускалась вниз-в глубь бездонную. Через дубравы-леса перекатываясь, переносилася, Ковылем шелковым растилаяясь в степи, волновалася. До края неба синего доносилася. Стоном лебедя по лебедушке по над займищем она раздавалася.

О чем грусть, тоска из сердца молодца звонкой песнею изливаются? Гибель матери и родителя все ль еще ему вспоминаются? Иль иные случилились беды-напасти? Да проходят они, забываются. А у красной девицы да и у добра молодца они, что роса утрешняя — взошло солнышко, роса высохла. Иль тоскуя поет, сам не ведая то, о судьбе иной — своей суженой, красной девице? И кому ж женой его быть судьба выпадет?

* * *

Женой быть на Дону у молодцев, кому не случается?
С кем, ежли полюбится, он не повенчается?
Были круглоликие девицы московские, были и дебелые дочери боярские.
Матери примерные — крымские татарки; жены всегда верные — девицы ногайские;
Станом своим тонкие, княженки черкесские, девы кабардинские,
Были полонянки,[1]) разные ясырки,[2]) с боя в море взятые; были и ордынские.
И певуньи звонкие, как заря румяные, девицы-черкашенки*)

---

[1], [2]) Полонянками назывались пленницы, взятые в плен турками и татарами (магометанами) у христианских народов (и освобожденные большей частью казаками). Ясырками назывались пленницы, взятые в плен у магометанских народов (большей частью казаками).

*) Черкасами в XVII в. называлась поднепровская часть украинского народа.

Были черноокие с соболиной бровью девы-
кизильбашенки,*)
В глазах с бирюзою с русою косою шляхтенки-полянки;
И с горячей кровью южных стран смуглянки.
Были все довольны долею своею — за мужьев и деток
горячо молились.
Казакам же все же вольные казачки больше всех
„любились"**).
Видно „сердобольная" на Тимошу с лаской взор свой
уронила.
Хоть казачка вольная, и была с опаской, тем себя
сгубила:
Тем своё и молодца сердце погубила.
Песня сладкозвучная неустанно льется:
А у казачки вольной, как у пташки пойманной, сердце
от ней бьется.
Ночкою бессонной до зари у девицы очи не сомкнулись
Песней неугомонной и Тимоши речи все ей вспомянулись.

Сказ 5.

Как полюбилось песнопение донского молодца послу московскому и что им с того замыслилось.

В то лето, в 124-ое***) вот что было, что случилось на Тихом Дону, на его Казачьем Острове, в Главном Войске, в городке его Черкасском. Были в нем проходом по весне послы иноземные — Московский да царства Турского. „Шли" они через Азов в Москву из

*) Кизильбашами в XVII в. назывались персы.

**) „Любились" — нравились.

***) В XVII в. на Дону, как и в Московском государстве, летоисчисление велось от сотворения мира, без указания обычно тысяч; 124, т. е. 1615 г. от Р. Хр.

Царя-города. Станом своим стояли они на Чингарском острове,*) с полверсты от городка Черкасского.

Пришлось услыхать донского песенника и послу московскому, как пел тот на молебствии. И дивился посол и все люди его тому, чего ни в своей ни в чужой земле им слыхать не приходилося. А московский дьяк, что послу „во товарищах“ был, хоть и бывалым слыл, ровно столб стоял, рот разинувши, услыхав, чего и ему слыхать не доводилося.

И не раз и не два пел-играл потом Тимофей Иванович послу московскому песни свои сладкопевные. Не одна лишь потеха была с того тому, — большое дело, „дело государственное“ им с того замыслилось. Гостилчествовал он Тимошу, а заодно с ним и Филю, друга его, горячим вином, медами сладкими да винами заморскими.

Ну, а молодцам что? Ежели почтенный человек, Войска Главного гость гостит-чествует их, отнекиваться иль особой „принуды“ ждать, не годилося. Ежели с кем дружбу ведешь, — кочевряжиться перед ним у казаков на Дону не водилося.

А ублажал посол донского молодца не без хитрости, не без боярского на то своего умышления. Да вскорости молодцам все и открылося: стал он Тимошу ублажать-уговаривать: ехать вместе с ним в Москву Златоглавую. Сулил посол донскому молодцу, что его, песельника такого знатного, небывалого, царь-батюшка, Михайла Федорович, в свои „государевы люди“ пожалует с великой честею, и будет Тимофей Иванович в палатах его белокаменных жить-поживать припиваючи.

Сказывал посол донскому молодцу: „Ты только рассуди умом своим, Тимофей Иванович, а разум тебе не малый даден Господом, наши люди все ему дивятся, — ишь, как, ведь, виляла хвостом лиса старая, — ты

---

*) Чингарский остров, возвышенное место выше по Дону от Черкасского; островом оно было лишь в полую воду.

только подумай, сколько будешь деньги загребать, как почнешь ты петь на панихидах да на молебствиях, а особливо в Успенском*) при патриарших выходах. Да тебя, Тимофей Иванович, засыпят всего деньгой люди купецкие и бояре московские; аж занудишься, не ведая, куда тебе свою деньгу „деть". Не подгадишь ты и ныне в церковном песнопении, слыхал я, как заливался ты на молебствии, а в Москве ты с ним в месяц другой во-как справишься, дело то тебе, вижу я, совсем плевое".

А Тимоша речи посла слушая, не отнекивается и не придакивает, усы покручивает, ухмыляяся, да сладкий мед из стопы, знай, потягивает.

Замыслил посол дело свое не от скудоумия, а с разумением, — ведала лиса, куда и за чем ей проскользнуть захотелося. Вез посол из Царя-города в Москву заморских стран дива разные, по указу царя-батюшки им накупленные, и от султана Турского в дар-подношение. И узрел посол, услыхав донского молодца, что те дива — нет ништо, перед его сладкозвучным пением. Вот то было б подивиться чему, „послухать" что — и патриаршему блюстителю**) и царю-батюшке благоверному да и всему стольному граду, Москве Белокаменной.

У шатра посол похаживает, бороду свою поглаживает, умом-разумом прикидывая — и чего царь-батюшка ему за его посольское радение, за боярское ему угождение, чего-чего не пожалует по своей милости? Ухмылялся посол, представив мысленно, как будут пучить бояре свои „буркулы", слушая песню молодца, на диво им, послом, в чужой земле отысканное; как будут стоять, они, свой рот разинувши, аж позеленеют все от зависти.

Был посол и сам боярином, да роду то он был захудалого; вся родичь его в годы смутные не той стороны

---

*) В Успенском соборе.

**) До 1619 г. — возвращения Филарета Никитича, патриарший стол был не занят, его замещал блюститель.

держалася, какая напослед на верх взобралася. И мнилось ему, как будто виделось, что пожалует его царь, милость у него великая, лишь угодить ему сумей, пожалует его в бояре стольные, статься может — и в бояре думные. Да даст еще ему, за посольское его радение поместьице да еще и вотчинку, ему думному боярину, и роду его на прокормление.

Да видит посол, что Тимофей Иванович на соблазны его и посулы всяческие не больно что-то зарится и опасаться стал, как бы дело его, дело великое государское, как рыбка с крючка не сорвалося.

Сказывал посол дьяку своему: „Только б залучить его нам в Москву, Савелий Панкратович, а уж там ему из наших рук никак не выкрутиться, уже там молодчику от нас не вырваться — сумели б мы с ним там как управиться“.

И придумали посол с дьяком на донского песельника приманочку особую, как и талан того — необычную, небывалую.

Сказ 6.

Какое диво заморское везло с собой из Царя-города посольство московское.

Была на стане у посла московского турская девица, вез он ее из Царя-города. По-басурмански звалась она Фатимою, а посол и люди его посольские звали ее — Феклою, знать, краше были им имена свои, московские. Баяли они казакам, что за казну немалую, почитай что и не бывалую, купил ее посол у турского паши-визиря.*) А какого она роду-племени, то не ведали. Сказывали де дьяку люди турские, была взята она в полон в годы свои малые в землю турскую, а из какой, то не открылося, сказывали, что забылося.

---

*) Паша-визирь, великий визирь был главой турецкого правительства, или дивана.

А была она роду княжеского. А при султанском дворе, в серале по ихнему, обучалась она женскому вежеству, обхождению ласковому да пляскам всяческим. И пожаловал ею султан своего пашу-визиря — „за многие ему службы верные“, а было то по речам дьяческим незадолго посольства пред отбытием. Осерчал ли сам паша на ту девицу, жена ль старшая на нее „взлекалася“, иль причина иная с пашею сталася, но продал он ее послу московскому; дьяк де и самолично толмач видал, какую казну великую посол паше за нее отдал.

А после пира-чествования сам московский посол так о турской девице атаманам сказывал: Восхотел де он, посол, спасти душу басурманскую от погибели, от горения после смерти в котле со смолой в геене огненной. Дала де басурманка обет ему, обещание принять крещение, в Москву по прибытии, да и от пострига она де ему не „зарекалася“. Потому и отдал он за нее казну не малую, чтоб в веру христианскую обратить ее душу басурманскую, и совершить тем дело богоугодное. Затем де и везет он ее в Москву Православную. Посол сказывал, а дьяк ему все поддакивал.

А из турских посольских людей, есаулом войсковым человек „прикормленный“ в пору ж ту по иному про то сказывал: Замыслил турский султан казаков с Дона сбить за досады от них его Азов-городу, за походы их на море Синее, за городов его там разорения и ради для совершения того своего умышления, послал посла своего просить помочи у царя московского иль того хоть, чтоб сам он ее казакам донским не оказывал — не посылал бы им ни хлебной ни пороховой казны, — турский человек все то есаулу сказывал.

А человек тот был тайный толмач паши-визиря, по-казачьи молвил как по своему, да то не токмо послу московскому и людям его, а и послу турскому было неведомо. Был он у паши верным, человеком своим, и послал он его в посольстве за турским послом тайно

проведывать, не прикормился ли он московским царем да и о делах московских все выведывать.

И поведал есаулу Мурат, что самолично слыхал, как визирь-паша султану сказал: — „А как собьем казаков с Дону с московской помочью, то и откроются нам пути к царству Астраханскому да и Казанскому и чинить препоны к нашему владетельству ими, уже будет некому. Вера в царствах тех, ведь, наша магометанская, и будет та земля не царя московского, а султанская, а владетельству нашему ему не воспрепятствовать. А покель „злые камышники“*) владеют Доном рекой на пути к царствам тем у нас стоит стена несокрушимая. С людьми царств тех сила ратная у нас бы прибавилась, враз бы „замирился“ кизильбашский султан, иль польский король, ежели б с нашей силой ратной она бы нами на них направилась. Да ничего над врагами не измыслить нам, пока разгрому мы не учиним казакам“.

Переглядел султан пляски девиц двора своего, гарема по турскому, и выбрал он из них красавицу и плясунью первую, и пожаловал ею посла московского, чтоб чинил он помочь послу султанского величества во всех делах его и замышлениях. А дар Фатимы султаном паше-визирю и продажа тем послу московскому совершены были для отвода глаз и московским посольским людям совершено было то всем напоказ, по замыслу посла московского, чтоб за прикорм какой напраслины иль нарекания на него в земле его не случилося, какой ябеды царю от злых его завистников не учинилося.

И поведал паки есаулу Мурат, что молвит ему все

*) Турки называли донских казаков в XVII в. злыми камышниками. Основанием послужило, вероятно, то, что во время морских поисков они скрывались в камышах побережья и то, что у бортов их стругов имелись камышевые тугие снопы для увеличения устойчивости во время бури и как защита от пуль.

он не из корысти, а как родный брат, как увидел он на Дону житье казачье, то оно ему и полюбилося, — что на свете белом такое может быть, ему и не снилося; хочет сослужить де он службу Войску Славному, чтоб в казаки донские его приняли. А как стал турский молодец про Глашу, ясыркину дочь, есаула выспрашивать, то причина тому и открылася, что казачка вольная, боле еще, чем казачья жизнь Мурату полюбилася.

Собрались атаманы на совет погутарить-побеседовать о „вестях" есаулом у Мурата добытых и стало ясно всем: московский посол султаном человек прикормленный. И порешили атаманы для провожанья посольств в Москву станицу послать, а человеку турскому „наказать", чтоб проведывал о злоумышлениях посла турского и московских бояр и обо всем атаману бы „переказывал", а что с ним он знается ни турским ни московским людям никоторому того б не оказывал. А есаулу передать было велено — чтобы ведал Мурат, как будет посольство турское вертаться назад, то на Дону казаком он и останется, и ежели Глаше он полюбится, то уж дело его, то она ему и достанется.

А о том, как против своих недругов атаманы донские ратоборствовать замыслили, какие против злоумышлений их чинить порешили свои „умыслы", иноземным послам осталось то неведомым — тум, иль людей прикормленных средь казаков донских в те поры еще не водилося. Да и своим молодцам*) о всем порешили поведать „во своевременьи": опасались атаманы — как бы они на посла турского и московского не в меру бы не осерчали, и по присуду казачьему „в куль да в воду" бы их не посажали.

---

*) Молодец — тождественно слову казак, рыцарь. Донские казаки Запорожских называли лыцарями, а те их атаманами-молодцами. Главное Войско, когда писало городкам, или Войску Терскому и Яицкому называло казаков — молодцами.

Сказ 7.

Как сучили посол с дьяком леску по московскому и какую придумали они приманочку, чтоб рыбка донская на нее взялася, а взявшись, с леской не оборвалася.

Придумал посол с дьяком своим на донского песельника приманочку особую. Стал дьяк Фатиме через толмача шептать, наказывать, чтоб была она с ним поприветливей, поласковей, а в обхожденьи с ним была б пообходительней.

Стала Фатима бывать и в городке Черкасском: разодевшись в кисею да шелка разноцветные, золотыми назапястьицами да жемчугами с самоцветными каменьями приукрасившись. Будто как в станицу татарскую в молельню-мечеть она хаживала, да „гостинцы" на базаре у торговых московских людей себе все приискивала. На майдане у „лавки" с атаманской дочерью Наталиею как-то она повстречалася, и „кажная" из них друг дружкой залюбовалася.

В годы минулые и казачки иные шальвары нашивали, бывала и другая турская одежа на них, а хоронить за чадрой ликов своих — на Дону не водилося. Потому и на Фатиме ее не было, была б непригожа повадка та, в Черкасском она б не годилася. И видя турской девицы лик, любовались все ей — и молодой и старик, и девица, и бабка престарелая.

Была на Казачьем Острове и своя краса писаная. А какая из них краше была: Фатима ль, девица чужеземная, басурманская, иль своя казачка вольная, Наталья, дочь атаманская — никоторому не сказать было того по своей совести. Была краса писаная из них „кажная" хоть была у них краса и разная.

Любы всем зорька утренняя и заря вечерняя, а разделяют их яркий день и ночка темная. Любы всем зимние и летние ясные дни, а меж них долгие и морозы лютые и жары знойные. Казачку ж вольную и тур-

скую девицу разделяло того большее: были разной веры они и роду-племени; и обычаи и повадки у них были разные, а все ж были „любы“ они всем, а какая из них краше была, то речи праздные. Любы всем цветы вешние, где б не возросли они — в темной дубравушке, иль в привольной степи, в зеленой травушке.

Взялся Тимоша по наущению боярскому обучать Фатиму песнопению. Сказывал посол донскому молодцу — как примет де она пострижение, будет оно во благо ей, душе ее во спасение, а наперед того, чтоб попривыкла к речи молодца, песни казачьей обучить ее ему он „присоветовал“. Филя за толмача у них стал, речь турскую, как свою он знал, потому мать его была „туркинею“; да Фатима и сама умела гутарить по казачьему, при султанском дворе она ей научилася от подружки своей русской девицы, а от посла же с дьяком она в том „потаилася“.

А московский посол у шатра все прохаживает, бороду свою все поглаживает, утешаяся, над песнопением Феклы потешаяся, и про себя все приговаривает: „На приманочку такую, как уж не пойти, как на нее не взяться, лучшей не найти; леске, мною ссученой, ввек не оборваться“.

Сидел посол ввечеру в шатре, донских молодцев медами чествуя; разошелся посол — попотчивал и „романеей“.*) И стал он сказывать им про окаянства басурманские, каких видом-не-видать и слыхом-не-слыхать в православном граде Москве, да и во всей московской земле. А чтоб уверились, знать, самолично они удостоверились, через толмача Фатиме и наказал — показать пляску свою донским молодцам. — „Самолично вы повидаете, — молвил посол молодцам, — чему турские девицы обучаются, чем паши окаянные да и сам султан потешаются; сами вы узнаете, что у них завелось вместо постов с поклонами и всего богоугодия московского.“

*) Романея — шампанское вино.

Ну, да и плясала же турская девица, да и потешила ж пляской своей донских молодцев. Филя сидел, не сморгнувши глядел, и дышать перестал. А в чем, иль без чего плясала, и как? Того на своем веку во время оное не видал еще ни единый казак. Да что о том и сказывать, что самому видать надобно — обычаи ныне уже не таковские, какие были в пору ту, пляшут девицы так теперь уже и московские... Плясала турская девица, а посол глаз не сводил с Тимоши, донского молодца.

А после того он его соблазнять, уговаривать еще более стал, как лукавый бес, сила дьявольская, в стольный град Москву с собою его звал. Сулил боярин Фатиму ему в жены отдать по принятии ею крещения, ежели в Москву он с ним отправится, и с житьем казачьим своим он расстанется.

— „В Москве у нас, — сказывал посол донскому молодцу, — обычаи не абы какие, не ваши не казачьи, а наши — московские, русачьи: „хоромы“ у нас крепчей монастырских стен у мужа доброго для жены его; обретет Фекла живота своего спасение, хоть и не совершится ее пострижение.“

Пристал к молодцу и „настырливый“ дьяк, ровно банный лист, иль смола липучая, с соблазнами своими да уговорами. А молодец, их речи слушая, не отнекивается и не придакивает, посмеивается да усы покручивает.

Не один день, после пляски турской девицы, а три уже миновалися, а песни молодца со стана посольского неслись еще, раздавалися.

Сказ 8.

Ершем донская рыбка оказалася — на приманку не пошла, на нее не взялася.

Был Филя, как и Тимоша, сиротой. Из родичей была у него всего лишь тетка родная, Скуритиха Дарья

Семеновна, в городке Маныцком жила „на выданьи"; да „сестра крестовая" атаманская дочь, Наталья Епифановна.

С Тимошей Филя были друзьями неразлучными, закадычными: вместе выросли, были станишниками и односумами".*) Жили-поживали в одном бессемейном курене,**) они, делясь друг с другом „кресалом и мусалом" ***) и последней денежкой, вместе проводили свои и ночи и дни.

Остались молодцы в курене одни: братья вся на рыбный лов на Лебяжье озеро отправилась. И молвит Филя другу свому закадычному: — „И чего ты, Тимоша, и впрямь в Москву с послом не отправишься? Захудал, видать, ты на Тихом Дону, а на московских хлебах, враз поправишься. Отрастишь ты там себе патлы поповские, отпустишь козлиную бороду и станешь дивомдивным Москве, стольному городу. А как будешь ты в граде совсем человеком своим, не позабудь перекинуться... с другом... другом... бывшим твоим. Не позабудь исполнить мою просьбицу..."

— „Ну, сказывай, какая-б была она у тебя?" — Молвит ему Тимоша, усмехнувшися, ликом своим к нему повернувшися.

— „Да не велика она у меня: дай лишь знать, где тебя в Москве мне искать. Уж доберусь я „туды" взглянуть на тебя, песельника нашего знатного, какой ты „чучелой" стал, да чтоб увериться в том, что вои-

---

*) Односумами назывались казаки, связанные интересами общего довольствия, одной артели.

**) В каждом городке были бессемейные курени, в Нижнем (или Монастырском) были курени исключительно из бессемейных казаков.

***) Кресало — кремень для высекания огня; мусало, или мусат — обделанный кусок стали, или железа для той же цели; „кресало и мусало" — все принадлежности для высекания огня, считая и трут.

стину не чучело, а тебя я видал, прийдется не раз чучелу туда-сюда рыло свернуть.

Да уж потешусь я, каким ты боярским холопом, иль церковным служкою стал, в какого обернулся ты туму-изменщичка Войска нашего, как и Дон повелся, кокого никоторый еще из казаков не видал".

Метнул Тимоша очами на друга своего неразлучного, да и стукнул еще при том кулаком по столу. Посулил Филе голову саблей снести, ежели такие речи дерзкие, отважится он еще ему плести. Да Филя и сам не „пужливым" молодцем был, посмеялся, покачал головой своей на угрозы Тимошины, и молвил ему:

— „Ежели не по нраву тебе речь моя приходится, и иная для тебя у меня находится. Что ж ты, истукан что ли, что на Бабском кургане стоит, ничего не видишь, как тот, хоть не закрывая глаз он глядит? Не ведомо тебе, как горюет она, убивается; лишь по своей гордости да по чести девичьей от тебя, идола, да и от всех людей в горести своей она скрывается. Ведает добре она, как на стане ты у посла „прохлаждаешься", как бес, перед турской девицей ты крутишься, увиваешься... Рвешь-разрываешь в куски сердце девичье... Истукан ты, баба каменная! Что ж тебе... песельнику нашему знатному... то не ведомо: ежели лебедушка, почитай что, в руках у охотничка, так на журавушку, ему неча „зариться"... — Подошел Филя в упор к Тимоше и молвил ему... — Не „замай" мою журавушку, тебе сказываю — добычь то не твоя, знай свою лебедушку... Неча тебе на стане прохлаждаться и с послом московским воловодиться, а перед журавушкой, ровно глухарь на току, свои перья неча растопыривать. Погонишься, тебе сказываю, — не угонишься, погубишь и лебедушку".

— „Да ты о чем и к чему речи свои сказываешь? Молвит Тимоша своему станишнику.

— „О том самом, о чем тебе лучше моего ведать надобно. А разжевывать — я не нянька тебе, а ты не дитё малое. Ведал бы ты все, ежели б совесть свою ты на стане не потерял, да глаз своих, как глухарь на

току ты не „зажмурял“. А сказывал то Филя ликом разрумянясь и будто как в знобу весь дрожал, николи таким односум еще его не видал. Снял Филя шапочку свою „курпейную“ *) с крюка и, боле слова не промолвивши, из куреня вышел вон, дверью хлопнувши.

А Тимоша по горнице стал прохаживаться, вслух приговаривая: — „Эх, да и проучил бы я тебя, хоть станишник и односум ты мне, за речи твои, речи дерзкие, не подобные. Ишь, черт помыслил что и другом еще называется — покину де я Тихий Дон Батюшку, в Москву де я тумой перекинуся...

Да прощаю я тебя, „неука“, **) не для ради с тобой дружбы моей, а ради Наташеньки, крестовой сестры твоей. Полюбилась, Филя, Фатима тебе, и потерял ты свою головушку, и как бирюк в злобе на друга верного своего ощетинился“.

Сел Тимоша за стол, на руки склонив голову, и молвил, тяжко вздохнув: — „Белоснежная моя лебедушка, голубка моя сизокрылая, да во веки веков не променял бы я тебя: ни на жар-птицу, ни на заморскую царевну-девицу, ни на все то — ни турецкое, ни на московское царство. Эх, да ежели б заглянуть мне в сердечко твое, проведать — бьется ли оно о мне радостно, иль надо мною ты, девица, потешаешься. Да гордая, неприступная ты, моя лебедушка, кровь то в тебе течет ведь родиловская... Ох, и хочется да не верится мне в Филин сказ... Не возьму лишь в толк — баил он мне все по своей дурости, для утехи ль меня, иль для отвода глаз?

— Да не стоял и не стою я, Филя, поперек пути твово: ведаю, как Фатима тебе полюбилася, а мне она, хоть и краса писаная, ровно — нет ништо: далеко ей до Наташеньки, как до белоснежной лебедушки серой утице. Эх, погубил ты, Филя, свою головушку: не добыть тебе журавушки... Не в догадку чтоль ему — что

*) Курпейный, курпетчатый — барашковый.
**) Неук — молодой необ’езженный конь.

с Фатимой вожжался то я лишь от своей досадливости, а на стане прохлаждался для потехи над бояриной... Эх, да боле всего — от сердечной муки своей... Да узрел — не залить мне её — ни горячим вином, ни медами сладкими, ни винами заморскими..."

Не мало времени Тимоша за столом сидел, на руки склонив свою буйную головушку, а после и песню запел. Понеслась его грусть-тоска по городку Черкасскому. И подумали, статься может, про песнь-тоску все по-разному, всяк по-своему, да пожалели молодца все одинаково — всем песни его любилися и все его „жаловали".

Не одна старушка прошептала про себя, услыхавши тоску Тимошину: „Ишь, до какой поры „болезный" по родителям своим, покойничкам, все убивается... Упокой, Господи, души усопших, раба и рабы Божьих — Ивана и Прасковеи, а сироте — Тимоше пошли, Владычица, здравия и исполнения во всем замышленном." И сотворила при том трижды крестное знамение.

А ежели б донской молодец не запел песни своей, то на кусочки мелкие сердце его разорвалось бы, иль сгорело бы, как „зелье" от „выпала" *), так тяжко было ему, такова была мука сердечная — ни горячим вином, ни медами сладкими, ни винами заморскими не утолимая, не угасимая.

Сказ 9.

Как расквитался с московским послом донской молодец и как с того круги пошли, как от камня в воду брошенного.

Прислал ввечеру посол холопа своего за Тимофеем Ивановичем, на стан прийти через него ему наказывая: „Есть у боярина дело важное, неотложное", — посланец боярский Тимоше сказывал. Подумал, пораскинул моло-

*) Выпал, пал — выстрел.

дец своим умом-разумом, и пошел на стан один-одинешенек, и другу своему не сказавшися.

К отбытию послов время близилось. Дней с пяток уже прошло, как приплыли струги из Воронежа, а с ними и стража охранная. Пристала к послу репеем дума неотвязная — что как на приманку, им измышленную, рыбка не возмется, а леска, хоть и мудро ссученная, что как оборвется? И стал посол донского песельника особо ублажать-уговаривать, ехать вместе с ним в град Москву. Сидел Тимофей Иванович, брови свои сдвинувши, до конца слушая речь боярскую — посулы его и обещанья всяческие, попреки за потчиванья его и дьяческие, а после того молвил и свою, речь казачью.

— „Дело наше, боярин, было полюбовное. Рядиться, наперед уклад чинить, обоим нам — было б дело непристойное: оба мы с тобой роду не купецкого. Гостилчествовал ты меня медами сладкими да винами заморскими, а я, что есть у меня — песнями своими сладкопевными. Таких медов и вина пить до преж твоих, правду сказать, мне не приходилося; да, ведь, и таких песен, боярин, слыхать, сам сказывал то, до преж моих и тебе не доводилося. И выходит — друг у друга мы в долгу не осталися, квиты мы, боярин с тобой, т. е. вокак с тобой расквиталися. А про Фатиму, мою женитьбу на ней, речи твои — речи праздные, все измышления твои о том — „несуразные". Не учился я пить из чарки не допитой, другим начатой, и учиться тому я не собираюся. Да ежели б и надумал казак в жены себе турскую девицу взять, то не стал бы тебя, боярина, в сваты к себе звать. Сватовство у нас не водилось и не водится, и без него женитьба у нас обходилась и обходится. В Москву ехать мне — вовсе незачем, и покидать Войско родимое вовсе не для чего. А прохлаждаться да валандаться мне с тобой, боярин, боле неколи, есть и свои дела — дела казачьи. С тем, боярин, и прощай. Спасибо тебе за твою хлеб-соль, твое потчиванье"!..

Стоял посол, рот разинувши, бельмы выпучивши,

хоть донского молодца, давно и след простыл. Забегал, заметался посол по шатру, отплевываясь во все стороны, про себя причитывая: „Ну да, и прощалыга же окаянный, ну да и шарамыжник же... Прибавлял по-московски и то, про что нам и „неудобь“ сказать.

На другой день, перед вечером, вновь прислал посол посланца своего за Тимошею: да не в тот ни на другой день не пошел уж он на посольский стан: больше туда донской песельник уж не хаживал, и глаз своих туда боле не показывал, — замолкла там песня молодца.

Разбушевался посол, срывая злобу свою на людях своих и, на дьяка своего набросившись, стал ему вычитывать-выговаривать: — „И что ты, лысый черт, мне советовал? На что глядел, старый хрыч, что доглядывал? Прикинь-пораскинь холопьим умишком своим, как исхарчились мы, изубытчились? И кого только потчивали, чествовали мы, как добрых людей, пораскусил ты, хоть теперь — шалопаев, шаромыжников... Ты подумай только, ирод, сколько они, утробы их ненасытные, всего всякого попили, сколько выдули... Де еще беспременно над нами еще и потешаются, за нашу хлеб-соль нас же еще и оговаривают... Перегляди всю „рухлядь“ *) мою и свою, да и у людей всех поспрашивай, „не стяужили-ль“ чего, верно уже не без того, на стане у нас прохлаждаяся.

А Фекле, басурманке проклятой, накажи, чтоб под руку мою да и на глаза мои не попадалась, не показывалась до отплытия. Ох, да и чешутся руки мои оттаскать ее окаянную, за патлы длинные, да лишь перед чужими людьми не в охоту мне ославиться... И какому она, в чертях там, училась вежеству, какому обхождению, ежели не сумела прельстить, даже казачишку безродного... Постригу в монастырь ее, басурманку проклятую, — крикнул боярин в сердцах, ногою топнувши, — выбьют ей там из головы рукоделье ее басурманское,

*) Рухлядь — вещи, имущество.

за постами да поклонами позабудутся ей пляски бесовские... Узрел, хоть теперь, ты карга старая, какую казну великую я зря сгубил; ведаешь теперь, почто паша мне ее с рук своих сбыл... Ишь проклятая, и какая, ведь, норовистая оказалася: не токмо на гору не вывезет, а не свезет и под гору, порожняком окаянная все б каталася".

А дьяк тужась вспоминал, что на стане было, что случилося, и все думал-гадал: „Уж не прошибся ли как толмач по своей дурости, Фекле наказывая, что им ему было припоручено — и показал не на того, на кого было надобно, а на Фильку, друга Тимошки — идола. Ну, та и рада была с ним „лясы точить" побасурманскому и во всю на него напустилася. И на кой чорт Филька послу московскому: совсем он ему, то — есть без всякой надобности". И набросившись на толмача, стал дьяк „с шумом" вычитывать ему, выговаривать.

Вот как расквитался с московским послом донской молодец по-казачьему, и как с того круги пошли, ровно от камня, в воду брошенного.

Сказ 10.

Какие бывали на Тихом Дону в годы минулые казачки-девицы.

Какой красой-девицей выросла дочь у атамана Епихи Никитича все видали, а какой она была умницей все слыхали, иль самолично то знали. Сказывали в Черкасске — всем была она в свово родителя, а „обличьем" своим уродилась больше в свою покойницу-матушку. Ну, а та была какою красой, всем ведомо.

Да и как было не быть Наташе умницей у такого родителя, казака бывалого, атамана мудрого, каким был и на все Великое Войско слыл Епиха Никитич. Лет с пяток без малого на своем веку в полону скоротал: акромя Турской, и в Цесарской, и в Гишпанской, и Венецейской, и во Франкской земле побывал, повидал

свету белого. А в бытие свое походным атаманом в Московском царстве в годы смутные, нагляделся „присуду“ и обычаев польских и царства московского.

Пролетает птица перелетная страны многие, двукрат в единый год — о весне и по осени, да остается ей то без всякого последствия, потому разума человеческого ей не дадено от Господа. А человеку с его разумом, да особо с таким, каков был у Епихи Никитича, побывать в землях разного роду — племени, многократ пользительней, чем прочитать уйму книг, полных всякой премудрости человеческой.

Более уже десятка лет прошло, как овдовел Епиха Никитич, да и при вдовстве его было кому беречь-расти Наташеньку, дочку его ненаглядную. Взял он в былое время, до того еще, в полон в „морском поиске“ с малым дитем ясырку турскую. И не позарившись на казну за нее, отдал жене своей в хозяйстве быть помощницей. И осталась ясырка та „по век жизни своей“ атаману благодарною, что не разлучил он ее и дитятку. Приняла она с дочкою крещение и стали обе казачками вольными*, жить же попрежнему остались у Родиловых. Ясырка та, нареченная Марьей при своем крещении, „доглядала“ за куренем и за Наташею, жалела и пестовала ее, как свою дочку Глашеньку. А как супруга у Епихи Никитича скончалася, то заместо она матери ей осталася.

Была Наташа в таком уже возрасте, в коем иные бывают уже и в замужестве. Была она первою затейницей в карагодах и в играх девичьих, и в вышиваньи была искусницей; а с родителем и кто бывал у него, такие речи, вела что не токмо молодого, а и матерого казака речам таким все подивились бы.

Был у атамана Исая Мартемьянова сынок, так ничего себе, как будто, вырос молодец, давно уже он мимо куреня родиловскаго стал протаптывать себе до-

*) Пленники и пленницы (ясырь), приняв христианство, получали свободу.

роженьку. Не раз его родитель и Наташи меж собой про детей своих речами перекидывались; и сказывает Епиха Никитич своей Наташеньке, что дочерям своим их матери обычно сказывают, — пора де дочка подумать и о своем замужестве, и молвит ей: — „Атамана Мартемьянова сынок, ну, чем не молодец?“

Впервые Наташа отшутилася, а вдругорядь напрямик родителю ответила: — „Не люб он мне“, — и от молодца совсем она открестилася.

А как родитель не так чтоб принуждать ее стал, и по родительски, любя, советовать — привередничать де вовсе не к чему, от хорошего лучшее искать де не приходится, вскинувши очами на своего родителя, Наташа так ему промолвила:

— „Не единожды, родимый батюшка, сказывал ты мне — про обычаи, присуд и повадки людей московских. Нагляделся ты вдостоль их, как был походным атаманом в годы смутные. Сам сказывал ты мне, какие междоусобия, беды и напасти от них там приключились, а выходит они тебе и атаману Мартемьянову вот — как полюбились, ежели на Дону завести вы их задумали. Да, когда ж то, батюшка, у нас видали, чтобы казачку вольную, не по воле ее, а по родительскому решенью, выдавали, иль замуж брали? Не тебе, родимый батюшка, обычаи московские у нас заводить, и не мне в замужестве за Мартемьяновым быть. Пойду я за того, который мне полюбится, да еще и сослужит Войску службу великую“.

И слова не промолвил Епиха на то, что дочь ему промолвила, лишь взглянувши на нее подумал: „Росла, росла, — не приметил, как и меня уж переросла“. А о Мартемьянове сынке уже не заикался, не досаждал им он своей дочушке.

Полюбился девице Тимоша Разин. Да таилась в в том от всех она — по гордости и по чести девичьей, берегла свою и честь родительскую и его же атаманскую. Люба всем она на Казачьем Острове, а вот как,

до каких пределов люба она молодцу — вот то-то и не ведомо.

А как молодец на посольском стане прохлаждаться стал, да как турскую девицу она увидала, да что на посольском стане было, что случилось она услыхала, так сердечко у девицы и по новому забилося.

На кусочки у девицы сердечко разрывалось, как в вечеру пение Тимоши со стана раздавалось.

Творилось с Наташей необычное: сама б в сердце молодца стрелу ввонзила острую, и в пору же ту сама б его спасать бросилась. Расцвела, разукрасилась цветами яблонка — да на ветвях ее ворковали горлинки, а внизу, извиваясь, ползали змеи лютые. Казачьей песней облегчала девица сердце свое, лишь ею разгоняла свою грусть — тоску.

Сказ 11.

Кто и как замыслил золотую рыбку добыть, как пришлось ей по Дону плыть.

Поведал Филя сестрице своей, что на стане было, что случилося; сказывал он ей — турская девица де так ему полюбилася, что готов он за нее и жизнь свою и душу отдать. И она не чает в нем души своей, сама она ему в том призналася, а ежели из неволи он не вызволит, наложить руки на себя она обещалася. Поведал Филя и то, как разругался Тимоша с московским послом — и глаз своих боле на стане он уже не показывает, дня с три как туда он уже не захаживает, а без него и ему на стане бывать не приходится и как с Фатимой повидаться, хоть словечком с ней перекинуться, теперь им уже не находится. И говорит Филя крестовой сестрице своей:

— „Проберусь вслед за послом я в Москву, может, там, как я ее вызволю... Иль — отобью я ее у каравана с донскими молодцами, как будет плыть-проплывать он городки наши верхние“.

Стояла Наташа посреди горницы и, поднявши брови свои дугой-радугой, молвила братцу своему крестовому: — „Эх, и куда же добрые молодцы с Дона Тихого подевалися. Перевелись, знать, они, в стародавних песнях лишь осталися. Эх, да ежели была б я не девицей, а добрым молодцем, сумела б добыть я лебедушку и без выпала“. А как сказывала она то, даже сафьяновым своим коблучком о пол стукнула от досадливости.

— „Потерял ты, Филя, свою головушку, потому и сказываешь речи свои — „некудышние“. Не пристало терять ее казаку — ни в радости, ни в беде, и ни в сердечной горести. И как ты, Филя, в Москве ее вызволишь, ежели у себя на Тихом Дону не находишь, как ее вызволить? Не отобьешь ты ее у каравана посольского, как будет он проплывать городки наши верхние, ежели не измыслил, как отбить ее, Филюшка, тут, покуда караван на месте стоял — у Черкасского. Да и при том надобна не ратная силушка, а казачья сметочка и ухваточка. Батюшка мой мне не одиножды сказывал, и ты то слыхал: да ежели б казаки со своими недругами одной силой ратною управлялися, то от них на Тихом Дону давно б и следы уже затерялися. Сам сказывал — до отплытия каравана два-три денька всего лишь осталося, за время то и надобно все нам так оборудовать, чтоб и тебе она, Фатима, досталася, и за Войском нашим, дурная слава б как не осталася. Приходи ввечеру, Филя, к садику, а в курень эти дни ты не захаживай, как и чему быть-надобно нам посоветовать, как Фатиму нам спасти от погибели, от неволи ее у боярина“.

Ушел молодец, а Наташа походила по горнице, на „лавке“ посидела и что-то попридумавши, Глашу к себе „покликала“, и о чем-то с нею пошепталася, а та в станицу татарскую за казачкой Сулимою полетела, во всю прыть свою помчалася.

А о чем по приходе ее Наташа с нею речи вела, о чем советовала, в курене слыхать, кроме Глаши, было

некому. Ну, да та была не таковская, чтоб слово вымолвить зря — порода то ее была, ведь, турская, а не русацкая, не московская...

Сказ 12.

Как турская девица, бывшая в неволе, оказалася на воле.

К вечерку время близилось, уж к Кобяковой горе*) солнце снизилось. Было станишницам в городке многим видать, как Сулима на спине узел несет. Ну, как было то не узнать, куда и за чем с ним она идет? И поведала Имбрагимовна им — отправляется она с вышиваньем и рукодельем своим, кой-что задумав на стане продать...

То, другое Фатиме из узла Сулимы и полюбилося, да перешить, переправить все ей приходилося.

И в пору ту Имбрагимовна неприметно ей перехазывала, что Наташа передать Фатиме наказывала. А как узел она перед уходом увязывала, то узелок неприметно, Фатиме моргнув, под постелю ее и сунула.

Повстречался Филя с Наташей у садика, и словами они перекинулись, как и чему быть посоветовали. И дала сестрица талер братцу крестовому; видать, чтоб утешить его. Да махнул молодец, знать, рукой на дело свое необычное и думушку о Фатиме из головы выкинул. Взял из куреня пищаль и, на стан прийдя, продал ее московским стрельцам, что прибыли в страже охранной. И уселся Филя с ними в зернь поиграть по своей дурости, или младости; статься может и то — захотелось молодцу себе игрою деньгу добыть, чтоб в Москву вслед за караваном поплыть.

Проиграл Филя со стрельцами до полночи и все

---

*) Кобякова гора — (казна), высокий правый берег у слияния р. Аксая с р. Доном, верстах в 17 к западу от Черкасского.

спустил до последней денежки и талер, сестрицей подаренный, и за пищаль что досталося, в „гаманце“ у молодца ни единой полушечки не осталося.

Не скрылось от стражи: как Филя по стану во хмелю шел шатаяся, и по утру всем о том растрезвонила, как пьяным донской молодец шел, после игры домой возвращаяся.

На другой день ввечеру Сулима на стане с узлом вновь появилася, исполнивши все что переправить из выбранного Фатимою, ей приходилося. Да турская девица уж больно привередливой оказалася — то не по нраву ей, а то ни так, а то совсем не любо никак, и даже с Сулимой она поругалася. И вновь завалился узелок у ней побольше прежнего, и ни дьяк, ни толмач того не приметили. А Фатима, чтоб скрыть его, уронивши „утирочку“*), поднять ее вниз нагнулся, и подале засунув его, неприметно с Сулимою она и перемигнулася.

А Филя с Наташею у садика вновь повстречалися, как и чему быть посоветовали, а признался ли он в проигрыше сестрице своей, о том и самим надобно догадку иметь. Понес на стан Филя ввечеру лук да колчан, и стрельцам его продал, чуть не так отдал. Отыграться молодцу, уж больно захотелося, не скрылось от московских стрельцов, как играть сесть ему не терпелося. Проиграли до самой полночи, и — ау, спустил Филя свои денежки. Хоть за игрою и не мало выпили, а все ж и выигрыш взбрызгнуть стрельцам захотелося, а как хмельного ни капельки уже не имелося, то и сбегал в городок Филя за горячим вином, удружив, назвавшися сам.

Пропустил он всего лишь чарочку одну — а пить он не отнекивался — чтоб не возгордились стрельцы, что о проигрыше своем он кручинится, иль не подумали, что неладное „им что-то“ чинится; да чарочки неприметно на земь все были вылиты.

---

*) Утирка, утирочка — носовой платок.

По выходе из шатра Филе со стражей пришлось повстречаться — и стала зубоскалить она, потешаться, куда де казаку со стрельцами в зернь играть браться. Да видят, что совсем он сбился „с панталыка“ и языком не вяжет лыка, прочь пошли.

А месяц по небу бежит, из-за облачка на молодцев глядит. Не мало месяц потешался и от смеху надрываясь, то и дело за облака скрывался, и далее поплыл.

Пробравшись меж шатрами, Филя под одним из них залег, что рядышком с посольским был. Видать на добычу не малую он метил. И поджидала в пору ту его расплата — того наш молодец не сметил, что может быть и извнутри заплата, — что может стража быть и внутри шатра.

А как Филя край его поднял, и впрямь страж вскочил из-под него. Вот-вот бросится он на него, и караул заорет изо всех сил. И впрямь кинулся... и на шее донского молодца повиснул, руками шею обхватил, и крепко ее стиснул.

На весь Дон Тихий, на Войско все „ославиться“ приходилось Филе, прозвища ночного татя*) не смыть ему и в своей могиле.

Послышался, да не крик, не караул...

А месяц по небу бежит, и на стан во все уже глаза глядит, из-за облачка выглянул совсем... Филе уже никак не скрыться... Слышны были, — не крик, не стон, а чмоканье и шопот. Да что уж и к чему нам от своих людей таиться: Фатима то была, в казака она преобразилась, казачья одежа из узелков Сулимы ей пригодилась.

И стали два молодца донских по стану пробираться, и пришлось им со стражей повстречаться — с одною у шатров, с другою у стругов. А что было, что случилось с ними там, будет ведомо „во-времени“ и нам.

---

*) Тать — вор, грабитель.

Вот как за проигрыш двудневный наш Филя отыгрался. Знать, не по младости, иль по дурости своей он в зернь играть с стрельцами брался.

Сказ 13.

Где и как лебедушка с журавушкой повстречалися.

Тимоша и 2 молодца Филю с Фатимой в стружке дожидалися, а как под тот бок отплыли они, и под яром в тени оказалися, налегли на свои бабаечки и немешкая в Черкасский помчалися.

Побранились, „покочетились“ в сердцах, а на другой день односумы и померились: как задушевно побеседовали, да как друг другу во всем открылися, то неделеного и не осталося — одному лебедушка, другому его журавушка любилась, оказалося.

А в садике родиловском Филю с Фатимушкой Наташа с Глашей дожидалася. А как увидала лебедушка журавушку кинулась к ней и с ней поцеловалася. И пошли после того все гурьбой в курень, а как по ступеньках наверх они поднималися, поднявши скрып, Глашину матушку и разбудили. А Епиха Никитич по войсковым делам был в Маныче, возвращенья его уже после зорьки чаяли.

Немало в курене все потешалися, гомон, крик и смех там раздавалися. Сказывал Филя, как он и Фатима на стане повстречалися и как потом по нем они пробиралися; показывал сестрице он и всем, как обернулись они перед тем — он криворотым и хромым, а она казаком от рождения немым и как она до самой воды не отгибаясь с земли, искала сбежавшей лошадки следы.

Посмеялись Наташа с Глашею всласть. А в пору ту дверь — скрып, и в горницу — шасть: родитель Наташи вошел, лучшего времечка возвернуться из Маныча, знать, не нашел. Ахнули все! Наташа лишь одна не смутилася, кинулась к батюшке и во всем ему повинилася.

А Епиха Никитич — как тучка сгустилась; вот грянет и гром, чешет чело и молвит при том:

— „Да, необычное дело свершилось у нас. Навсегда наше Войско ославится, как про дельце твое всеми узнается. А как скрыться ему, хоть того, как свершилось оно, и не видели? Будет царь в гневе большом, что посла его так на Дону изобидили".

А Наташа, увидивши, что и родителю ее полюбилося, как со спасеньем Фатимы ловко все так совершилося, и молвит ему:

— „Да когда ж у нас, батюшка, такие дела совершалися, чтоб царя московского равно и султана турского гнева за них казаки б опасалися? Сам сказывал — гневом их, как и Дон зачался, они николи не смущалися. Во благо то Войска свершилось: семейного люда у нас поприбавится, а забубенных головушек хоть малость убавится. Бобылем братцу „будет" ходить, прохлаждаться по станам, бражником слыть, и без него будут охотнички".

И метнула Наташа взором на Тимошу, как с тетивы тугой стрелу пустила. А молодец: как маков цвет. Знать стрела та не пропала, куда ей метилось туда она и попала.

А у Фатимы, — Наташа после молвит, — видно такова уже доля, что будет муженек у нее казак, а ежели к тому Божья воля, то ни московскому царю ни турскому султану тому не воспрепятствовать никак".

Все уже видали, что грозовые тучки мимо пробежали, и слышат — не гром гремит, а Епиха Никитич говорит:

— „Ой, прийдется мне, Наталья, в обмен на Фатиму послу московскому тебя отдать, а на придачу пойдет и Марья, чтоб она тебя не покрывала, увезет боярин вас в Москву, и Дона Тихого вам больше не видать".

— „Да ежели со мной ты, батюшка, расстанешься, то ты, ведь, совсем без дочери останешься, — молвила в ответ Наташа, — а у меня — у меня есть батюшка и другой: все его знают, и все Дон Иванович его вели-

чают. Русалкой обернувшись, я тут останусь, а с Доном-Батюшкой я уж не расстанусь.

Еще потешились, погутарили о том немало, что в Главном Войске еще не случалось, не бывало.

И дал Епиха Никитич под турскую девицу свою гнедую кобылицу и умчал Филя с односумом в Маныч заморскую жар-птицу.

А наутро молодцы назад вернулись, туда — сюда часа в три обернулись: на стан пошли послов для провожанья, чтоб не было на них там ябеды какой, иль нареканья.

Сказ 14.

Что в ту ночь, как девица пропала, стража необычное слыхала.

Обменялись в канун отплытия послы с донскими атаманами прощальным чествованием, а ввечеру стали собираться и в путь-дороженьку. После же зорьки утренней в день отбытия и совсем стали складываться. А как сняли шатры в пору ту и оказалося: запропастилась Фекла неведомо где, ни на стане и вблизи нигде ее не отыскалося. В шатровой горнице лежала лишь ее одежа, без коей девице и показаться на люди было б непригоже.

И в татарской станице про девицу „пытали“, не пошла ль перед отплытьем Аллаху помолиться? И вверх и вниз от стана по реке искали — не случилось ли что с девицей со страху, как пошла водичкой освежиться? Стал посол с дьяком у караульных вопрошать — не довелось ли им что необычное видать, или слыхать?

Стража стрелецкая московская, ходившая у шатров, их сторожившая до поздних петухов, поведала послу: — „Ходило в страже двое нас — я да, значит, рыжий Апонас, Пантюшка ж чревом захворал, ушел в шатер — слыхали мы, как там он охал да стонал. Заполночь

было: кочеты в Черкасском „прокукаречили“ не меньше с час. Слышим — на реке „чевось-то“ взвизгнуло или завыло. Собака — не собака? А ежели она, — друг друга мы пытаем, — как на воду она попала? Чего было визжать, ежли через нее она переплывала. А ежли не она — так что? Бились — бились, никак не отгадаем. Глядим после того — два молодца чрез стан идут от нас невдалеке, видать нам — направляются к реке. Ну мы — вестимо, как не спросить, хоть идут почти что мимо — откуда, как зачем, куда? А сами зирк туда, сюда: идут то с чем? Приметили — у одного из них в руке узда.

И поведали они нам — паслись де у них лошадки „по тернам“, из них распуталась одна и вот никак не сыщется она. Долго в займище они кружились, языки свои высунули и с ног почти что сбились... Проведали мы все у того, что узду с собою нес, а другой, как нам товарищ его сказал, был от рождения немым — ну нам то ведомо и самим — ежели немой то, значит и глухой, не отгибаясь от земли следы он все искал. Голосом он не немой, а тот — другой, который, то-есть тот, что про немого нам сказал и шел с уздою... голосом он был как будто с Филькой схож. А обличием своим он на него, то-есть, совсем был не похож: одну ногу волочил, а другою ковылял. Да и кривое рыло у того хромого было, и левое око свое никак не открывал. И пошли с немым кривой, к тому же и хромой... да и посмеялись же мы с них, аж за животы свои с натуги брались... пошли они к берегу реки, где наши стоят струги, проведать у воды, не видны ль там лошадки их следы. Ну мы во всю глядели, чтоб не зацепили что у нас со стана. Лошадка то у них когда пропала? Как раз перед отплытьем каравана?

А ежели что у нас теми казаками и вправду загадалось, ведомо тебе, боярин, им того никак не удалось. Какая рухлядь была у нас на стане, вся целая осталась потому, ведь, были мы в охране.

А стража стрелецкая у берега стоявшая, струги

посольские там охранявшая, о всем что ведала так послу о том поведала:

— „Ходили мы, значит, до тех, покех не токмо вторые кочета в Черкасском все прокукаречили уже, а и все перепела за станом „проперепелечили". И ходили мы не вдвоех, а все, стало быть, втроех, потому, как в страже быть московским припадат, так у нас чревом хворых не биват. А того касательно, что на воде „чевой-то" взвизгнуло, али завыло то лучше ведать нам, потому как от нас то ближе было. Ежли была б то выпь, то так бы не визжала, а ежли была то сука, то чего ей выть, река тут не Ока, плюнуть переплыть. Да токмо то не животина выла, удостоверились — нечистая была то сила. Как перекстившись, „Да воскреснет" прочитали, так уж ни визга и не воя не слыхали. Апосля того похаживаем и в трещетку стукатим и во всю, значитца, глядим. И увидали — у нашего берега виднеется стружок. Три молодца сидят и, не выходя на бережок, себе местечко они глядят, где б его для улова рыбки краше выбрать им, то-есть снастям „вентерям" своим. Ну, мы тешась, значит, и гутарим им: — „Удим, удим, а вечерять завтра видать будем?" А один из них и буркнул нам в ответ, глухой или чудак:

„Да нет, московские земляне, мы не ловим ни ершей ни щук, а красная иль золотая рыбка уж никак не минует наших рук".

А по приходе тех молодцев двоих — немого да хромого... Что тот хромой был к тому же и кривой, то и слепой бы увидал, да токмо кривым он был не на левый, а на правый зрак, не открывал не закрывал его никак. Статься может — Фока в страже у шатров видал его, да не с того бока.

А как они, то-есть, хромой с немым к нам пришли и к стружку поближе подошли и тех, что в стружке приплыли, на тот бок перевезти их попросили, чтоб там следов лошадки поискать, не переплы-

ла она туда, хотелось им узнать. А тот чудак везти не соглашался и „почем зря“ на них ругался.

А как хромой полез было в стружок, то чудак его за то веслом чуть не ударил в бок. И тут они еще пуще заругались и немой притом мычал, будто как кривому жару поддавал.

Ну, тут уж мы больше не стерпели, и со всей строгостью на них мы зашумели, чтоб от стана они подальше убирались и тут больше б не ругались. И к тому ж еще и припугнули — да ежели де посла будет встревожен сон, да ежели проснется он, то ни единый из вас в городок здоровым не вернется. И тем они еще больше напужались: притихли и больше не ругались. А каков их был испуг, с того было видать, как хромого и немого сажали наспех в струг, и как погреблись от берега во весь свой дух.

А тот глухой, статься может, и глупой и загорланил как отплывали: „Поглядите, московские земляне, не распуталась ли как лошадка у вас, и не улетела ль она как на попас?“*) Над дуростью его все и в стружке смеялись. Отплывши и под тем боком скрывшись, они близ нас ужо не появлялись. А на свою лошадку они напали ль, иль хоть следы ее сыскали ль, то нам неведомым осталось, потому как их не было, то нами и не узналось.

Выслушал посол стражных людей своих, и видит все люди не сводят глаз с него, ожидаючи, какова будет речь его. Погладив расправил боярин бороду свою, назад под кафтаньи фалды руки схоронил, брюхо выпятил вперед и начал поучать свой так народ:

— Что и сказывать нам — народ „дошлый“ казаки в ратном деле не ударят рылом в грязь, что говорить — не дураки, не оплашают и перед нашими людьми. А ума нашего московского им Господь не дал, теперь то всяк видал; одним слепым то не видать. Да ежли б им нашей московской сметки, разумения да изворотливо-

*) Попас — пастбище.

сти, хоть малость бы придать, то на весь белый свет стали б людьми славными, знаменитыми.

Да где ж то было видано и где то было слыхано, чтоб золотая рыбка в Дону, иль в иной какой реке водилася? Не один десяток ден будеть дурень чаять, ждать и ловить ее умается, вздумал ловить, где она и не заводилася, а она так-таки ему и не поймается. И кем то было видано, иль кем то было слыхано, в чужой земле, или у нас когда, чтоб распутавшись лошадка летела б на попас, а не бежала, не скакала бы туда? Ну уж и молодцы, ну и мудрые же?.. И закатился боярин, аж чрево его „заходило ходуном".

Ну и все люди московские рады были позубоскальничать, потешиться над донскими молодцами, благо из них никоторого на стане не было, туда еще они в пору ту не прихаживали.

И молвил напослед боярин людям своим: — „В догадку теперь, православные, вам — пошто донские казачишки, калеки перехожие, пожаловали к нам; зачем они на стан забралися, почему они тут оказалися? Статься может за лошадкой своей „скандыбая" они и гналися, да при том что на стане плохо лежит, стяужить, беспременно собиралися. Да в страже то у нас были, ведь, люди московские — проглядеть, не таковские".

И велел боярин стражным людям дать за их в ночь ту службу-радение по чарке вина в награждение. А Пантюшке же не вел он давать, чтоб как в стражу в череду ему идти, не повадно бы было ему своим чревом хворать.

Сказ 15.

Приманочка пропала — как все уверились — в воду она упала.

А вскоре после того, как стражные по чарке вина выпили и усы свои вытерли, пришел на стан для про-

вожанья послов Атаман Войска Главного, Епиха Никитич, с есаулами, станичными атаманами и с донскими молодцами. Пришло войско пешее и войско конное, не одна сотенка набралася, приплыла из Черкасского и судовая рать.

Войскового же, Смаги Степановича Чертенского с ними не было: „не в честь“ было б ему на провожанье идти. Ино дело было б, ежели б на стане был сам московский царь, иль турский султан, ну тогда б и Войсковому Атаману было б в пору на их провожанье пойти. Обычаи посольские казаки добре ведали и промышки в них они не делали.

Поведали посол с дьяком Епихе Никитичу, что сами от стражи они проведали и просили атамана молвить, что и как ему о всем думается. Покрутил Епиха Никитич усы свои и говорит, свои очи прищуривши, — повадка у него такая водилася:

— „Ежели правду, боярин, люди твои тебе сказывали, что осталось в горнице турской девицы одеяние, статься может они тебе его и показывали, без коего девице и показаться на улице было б людям на посмеяние, так куда же запростилась девица и почему она нигде не находится? Да при-том подумать надобно и о том — кому одеяние без всякой надобности, кто без него совсем обходится?“

Примолчал Епиха Никитич малую толику, чтоб всяк о том своим умом-разумом прикинул, а в пору ту сам очами своими весь народ окинул, и молвит далее, ус покручивая:

— „По казачьему моему уму-разуму: оборотню да русалке она без всякой надобности, они без нее всегда обходятся. А ежели турецкой девице одежа ее больше уже не понадобилась, то, стало быть она в русалку обернулася, в воду вкинулась, и на стан уж больше не вернулася“...

А люди московские, услыхавши стали меж собой шептать: — „И до сего нам от людей было слыхать, а теперь нам и самим видать — атаман казацкий имеет

разум наш — русацкий. И чего на белом свете не бывает, не случается? И каких только делов на нем не совершается, и каких в нем не бывает бед? А на Дону видно всякой нечести всегда не пост, не сыропуст, а всегда мясоед?

А казаки переговаривались между собой: — „И не таких вас наш атаман в годы смутные видал, обхожденье с вами тогда еще знал! Как боярина он „обротает“ тот не приметит, не узнает“.

Помолчал Епиха Никитич и, едва приметно усмехаясь, молвит далее послу:

— „Слыхали от тебя, боярин, наши атаманы, да про девицу сказывали нам и басурманы, сказывали они нам“... Промолвил Епиха Никитич и прервал, как будто что-то вспоминал.

А боярин побелел и лик свой долу опустил, а сам думает-гадает: „Проведал, сатана, от посла турского людей, что Фекла мной не куплена, будь проклята она, а султаном турским мне в дар дана. Пришла моя погибель“. И дух боярин затаил и бельмы свои закрыл, с тревогой ожидая: вот-вот атаман, тайное промолвив, по голове его хватит, и „слава“ по Москве и по всей земле пойдет и беспременно, до царя-батюшки дойдет. „Опала царя-батюшки меня, ой, не минет; да не миновать мне и ссылки-заточенья, ой, спаси Господи, не миновать и постриженья“?

Да Епиха Никитич казак бывалый был и на все Войско мудрым слыл: окунул баярина в воду с головой совсем, и удовольствовался тем — как боярин „бульбушки“ пустил, то он его в пору ту и освободил. Топить его не собирался, а дал ему острастку, чтоб тот имел опаску и ни в глубину и на быстрину не забирался, а где помельче, там бы он купался.

— „Басурманы, люди турского посла, баяли нам, молвил атаман, — неведомо де было паше какого роду-племени она была, привезена из каких была она стран. Да паша то сам добре ведал, да чтоб тебе дороже ее продать, того тебе он не поведал. Статься

может, с той земли ее достали, по близости которой города Содом с Гоморою стояли, иль казни египетские, где совершались... А сам ты сказывал нам — в монашенки она у тебя просилась — ишь, кем ей обернуться не терпелось, среди монашенок московских как накуралесить ей хотелось, уж там бы отличилась. Да и до того — до Воронежа каравану долгий путь, молодца твоего не единого сумела б в коловерть втянуть. А по пути из Царя-города в воду вкинуться для ней была беда: всем ведомо в море не речная, а соленая вода.

Порода там особая русалья — с рыбьими хвостами, наши молодцы их не раз видали, какие на море бывали, есть они и тут меж нами. Перед „погодой" те русалки из воды „сигают"*) должно быть водяные их в пору ту гоняют.

А что молодцы твои баяли про визг или вытье, то потому, что им то „незнатье": девица русалкой обернувшись, как добралась до воды, на радостях и загоготала на все лады. Да поотвыкнув от воды, ей долго в ней не продержаться, не раз из нее вылезет она, чтоб отдышаться.

Пошли, боярин, по реке, протокам, ильменям взглянуть, не вылезла ль та девица где от воды передохнуть.

Открыл тебе, Господь, боярин, злокозни басурманки и от большой беды тебя тем сохранил за жизнь, знать, праведную твою, за богоугодные твои дела".

Погладил боярин бороду свою и на речь атаманскую ответил:

— „Что и сказывать, атаман, против речи твоей, правды истинной, и мне такожде о том думалось. А злокозней бесов иль басурман да и всяких людских я не опасаюся: молитвой с крестом да делами своими от них я спасаюся. А вот послать то на розыски у меня

---

*) Перед бурей (штормом) при сильной волне дельфины быстро плавая, показываются из воды, как бы перебрасываются из волны в волну.

кого не имеется, места тутошние молодцам совсем неведомы".

— „В том, боярин, нет большой беды, помогут тебе наши молодцы, отыскивать всякие в обычай им следы; ведомы им места тутошние до малых тропочек, а особо Филе: он у нас первый и рыбалка и охотничек, помочь тебе в твоей великой беде он не откажется".

И говорит посол Филе, увидавши его среди молодцев:

— „Окажи мне, Филипп Ильич, не службу, а дружбу не малую за хлеб-соль мою, за ласку мою к тебе прежнюю: собери донских молодцев, снаряди — пошли стружок — один вверх, а другой вниз по Дону, а конных пошли в займище поглядеть - посторожить по ильменям, а особливо по протокам-от воды отдыхаться не выглянет ли она ненароком. Да берегутся пущай твои молодцы, чтоб не втянула какого в омут, али коловерть, чтоб за него мне, значит, не ответствовать. Друг от дружки гляди, чтоб не отбивалися и один на один, чтоб с басурманкой не оставалися, и чтоб творили молитву и крестное знамение. А на стане со сборами да всякими уборами мы провожжаемся еще до полудня.

А ежели живою или мертвою она где отыщется, на стан волоките ее за патлы окаянную, ужо устрою я тут ей покаянную. А молодцев я за труд почествую, пожалую по своей милости. Да что, — бочку вина пожертвую басурманки той я за розыски.

И велел боярин скатить со струга бочку вина, чтоб донским молодцам была б его милость, щедрость видна, какое за розыски Феклы их ждет награждение и оказали бы в том свое они радение...

Боярину с дьяком горе великое, а казакам донским усмешички да хихикание, подталкивают друг друга локтями в бок да перемигиваясь в сторону боярина за кивком посылают кивок.

Возвернулись с поиска молодцы близко к полудню, баяли все про розыски разное, да и выходило все несуразное. Было одно ясно всем — нигде ни живой ни

мертвой Феклы не сыскалося, нигде не отыскалося: с света сгинула девица — в воду канула.

И отдал боярин молодцам бочку вина „горячего" за труды их радение, за розыски басурманки Феклы в награждение, хоть и были те розыски неудачливые, да слово слетело с языка, как стрела с тетивы, назад уже не воротится.

Покатили молодцы бочку в Черкасский вдоль по бережку, а как откативши за бугорочком скрылися, то перевести свой дух и остановилися. Глянули друг на друга да как закатятся, даже на песок от смеху положилися. Иные с земли встали едва, а другой выпустит словечка два и вновь все закатилися.

И говорит Филе станичник запорожец-казак: „Да и удачливый ты, бисова дитина, Филюшка тебя же упросил боярин чинить розыски, чтоб отыскалася тобой твоя Фатимушка. Одного я, браты, не уразумею никак — чи ваш батька-атаман дюже умен, чи московский боярин дурень-лайдак". И молодцы закатились еще более прежнего.

А в вечеру пошел пир горой, с пеньем, пляской, на бандуре и на гуслях с игрой, смеху было не приведи Господи. Донские и иные молодцы бражничали, а послу да и всем посольским людям в пору ту все икалося, знать на пиру немало о них вспоминалося.

А к утру бочку всю и прикончили да, токмо ту, что от боярина была добыта, и другую какую купили в складчину у московских торговых людей, и та до донушка была допита.

Сказ 16.

Как возвращался рыбалка, рыбку не поймавши, из-за нее приманочку напрасно потерявши.

Отплывал караван посольский лишь после полудня. Провожали его выпалами из наряда малого, а из Черкасского и из большого раздалися. Свершалось все

по обычаю, как проваживало Войско посольства иноземные.

Сидел посол у рундука на струге и все поглядывал: из воды русалкой Фекла не окажется ль? А как миновал караван город Маныцкий, боярин и совсем закручинился, запечалился, позвал дьяка и молвит ему:

„Садись, Савелий Панкратович, погутарим побеседуем с тобой. Как подумал — пораскинул я разумом, своим, да погутарил сам с собой, так и вошел дела в разуменье, в суть. А суть то как сказывает Лука Савельич, наш думный дьяк — бывает так, бывает сяк, то-есть иной раз оно то, что несут, а другой то, значит, то, в чем принесут...

А атаман по своей дурости прошибся; что Фекла в воду вкинулась, то верно; да токмо не русалкой она обернулася а, то-есть насмерть утопилась, потому на стан и не вернулась. Ну как в воде она оказалась тут она и испужалась, может и вспомнила кого, ну тут она и взлекалась, да поздно было — надо было думать до того“...

— „А одежа? С ней то как?“ посла спросил его дьяк.

— Заталдычил, как все дурак — одежа; да к чему она была ей гожа? Ну да, подумай, на што она могла ей пригодиться, коль решила она утопиться, потому и бросила свои лапотки и свои бабьи турские штаны. А наша стража, сатаны, и не видала как девка к речке пробежала, потому занималась своим рукомеслом — в носу, знать, ковыряла. А может и от шатра своего никак не отходила — ну как она могла б слыхать, что Пантюшка все время охал да стонал, ежели по стану она б ходила... Да ты, Панкратыч, не перебивай, а слухай дале. Так значит, то-есть вот в чем суть.

Давно уже то мне приметно стало, не спущает Фекла глаз с меня и средь бела дня, а особо в вечеру когда, бывало, казачишки приходили и с нею речи заводили, а она на меня все зирк, да зирк. Губа не дура — ишь, ведь, кого облюбовала“... Расправил боярин бороду свою и по челу себя погладил...

„Да я на своему веку и не таких видал, — речь боярин продолжал, — а как я через толмача ей наказал быть поприветливей с казачишкою — пьянчугой, и пообходительней при обхожденьи, да как и впрямь поверилось, что хочу я де, чтоб он на ней женился, так при такой напасти и навожденьи хоть кто бы утопился. От безнадежности она, то-есть, утопилась, вот в чем, ведь, суть...

А мне ж по истине сказать басурманки не по ндраву. Все они, все черноочие, щуплые да худосочие. Та ли стать наша девица московская: дебелая, телом в роде как каравая „пухкого“, а цветом белая, ну как на подобь пирога пшеничного, а сама румяная, а власы у наших — ну у одной чисто куделя конопляная, а у другой чуть порыжей желтка яичного.

Да не себе я ее прочил, пигалицу, ведомо тебе, а князьку Муракину. Давно я, значит, вокруг его захаживаю — и так и этак его для дельца своего обхаживаю, то-есть во-как полюбилась мне его вотчинка — Благодатная, с моей, Козий Кут, как раз смежная; восхотел я соединить их во-единое. Да на казну денежную иль иное что князя вижу я, мне его не взять. А против Феклы, особо против плясовства ее, враз „смекетил“ я, ему б не устоять, как бы он не отхилялся а на нее вотчинкой своей так-на-так бы обменялся. Сам то Муракин князь, то-есть род его из басурманских выходцев, потому ему басурманские девицы и любятся, как раз во как Феклушка была, пигалицы...

А того касательно, Панкратыч, что взять с собой в Москву Тимошку — прощалыгу я раздумавши, так пораскинь умом своим, где ж было б мне с ним там вожжаться с пьянчужкой, рад что отвязался от меня. Голосишка то у него, как я услухался, не весть какой; что горланить горазд песни свои казацкие, так они одна к одной, ой да, да ой да — все дурацкие. А с песнопением церковным, где ж ему было бы справиться. Никудашний парень оказался, а на выпивку, что говорить, ну просто прорва — сколько он не пил, а я ни разу

не видал, хоть чуть бы зашатался. Слава тебе, Господи, что ты меня от него пьяницы избавил, не раз на всю Москву меня бы он ославил". Снял боярин шапку и перекрестился; в свидетельство дьяку, как рад он де, что с песельником донским он распростился.

Немало еще посол с дьяком гутарили, беседу вели; да беседа велася по-боярски — боярин сказывал, а дьяк ему поддакивал.

И мимо юрта Смагина уж струги проплывали, а посол с дьяком все толковали; а после и замолчали. Печалуется боярин, все горюет — да не о турской девице, а о том что ну вот совсем, ведь близко было, а теперь утонуло иль уплыло — целая вотчинка ускользнула, с его Козий Кут как раз в меже одной, да во-единое их теперь уже не соединить и ему ни стольным ни думным боярином уже не быть — разлетелось все во-прах, все рассыпалось.

А в пору ту как караван мимо Маныча плыл, стояли на крылечке куреня Дарья Семеновна вместе с Фатимою, и Филя тут уже был: по отбытии каравана из Черкасского, и бочку бросил, не докатил, на коня вскочил и прилетел в Маныч быстрым соколом, обогнавши струги-утицы.

Провожали взорами на крыльце куреня стоявшие, струги посольские, мимо Маныча проплывавшие, послав ему в пути благополучия всяческого.

А в пору ту Дарья Семеновна Фатиму и примолала, припала девица на плече ее и разрыдалася. Были то слезы и от ласки непривычной, и от радости они были необычной — что и от неволи у боярина московского она избавилася и что со своим милым не рассталася.

Сказ 17.

Как в поход казаки из Черкасского отправлялися и какие чудеса в нем совершалися.

Да не соколы ясные не орлы сизокрылые на кур-

ган в степь слеталися, то донские молодцы с низовых городков в Войско Главное собиралися.

Были уже в городке гостюшки, атаманы-казаки: яицкие и волжские, гребенские и черкасы запорожские, все они донцам были не кумовья, а братья родные.

Собирались в Круг они неединова, погутарить-побеседовать, о делах своих посоветовать, и порешили на нем идти в поход на море — поунять силу вражью басурманскую, чтоб басурманы на Дон Батюшку не „похвалялися“, а за свои б города от казаков бы опасалися. А как из городков от Ведерника вверх в поход на море не поспели б молодцы, то в войсковой грамотке и отписали им — городкам от Кагальника вверх до Голубинского против Ногая Малого чинить поиски да и за Азовом во всю доглядывать, и низовым городкам по уходе казаков на море помочь при надоби оказывать, а всем верховых городков повыше Голубинского ратью конною Крымскую Орду ударить по затыли, или в бок, ежели она двинется на соседа, царя Московского.

Выбирали молодцы атаманов стружных с есаулами, а наперед того в Кругу выбрали атаманушку походного, атамана Войска Главного, всему войску любого, всем угодного, Епифана Никитича Родилова.

Струги быстрые молодцы позаконапатили, поисправили, что было в снасти починили, позачалили; казачки запасы в поход изготовили, все что надобно приготовили.

Попировали два денька перед отбытием; вино крепкое в чарках пенилось, неслась казачья песнь по Черкасскому: молодцами на хмельное перед отплытием чинилось заговенье.

Отслужили в день отбытия в поход по обычаю молебствие. Перед иконами своих заступников коленопреклоненно все помолилися, а в поход идущие, поцеловав крест и водой святою окропилися. По — походному молодцы снарядились — приубралися, быть в городке часы последние им оставалися.

И случилось в городке в вечер тот диво-дивное не бывалое, и приключилось оно не у храма Божьего и не со старушкой, а у куреня родиловского с добрым молодцем.

Проходил вблизи его Тимофей Иванович у край садика и упала вдруг на дорожку ладонка, а упала она как будто с облачка. А диво в том было не малое, а для молодца совсем и не бывалое. Облаков то на небе совсем не было: небо чистое, было ясное. Необычно в кустах зашуршало в саду и чем то хрустнуло. И в том было необычное: над островом стихло — еще с полудня: не единым листком не шелохнулось. А волков, лисиц, иль иных зверей в казачьих садах не водилося. Ну, не диво ль необычное, не бывалое в городке в пору ту совершилося?

Который иной не подумал, не сказал бы чего о том несуразного? — „Уж не привиделось ли, не померещилось ли то Тимоше как по делу пьяному“?

— Как привиделось, померещилось — ежели хмельного у молодца за весь день, а не единой капельки во рту не было. Не померещилось, знать, ежели в руке своей он держит ладонку. Из атласу она была, цвет лазоревый, „в разноцветь“ была шелками шитая. На гайтане висел образок святой. Земля родимая по казачьему обычаю в ладонку ту была зашитая. Сотворил Тимоша крестное знамение, снявши шапочку; на образок поглядел и, поцеловав его, ладонку себе на шею надел.

Как привидилось, померещилось? Ежели рукой своей гайтан шелковый Тимоша не раз пробовал, и ладонка по груди его передвигалася, знать была она и была в целости, никуда она, не терялася.

Поздним вечером, когда заря уж стухла на небе, собрались молодцы к стругам, к Дону Тихому, выпивали они по последней стружной чарочке и заводил — запевал Тимофей Иванович песнь прощальную:

Ой ты, прости-прощай, кормилец наш, Дон Иванович!
Ночкой темною отнеси ты нас в море Синее —
Погулять на нем, позабавиться, с силой вражьей поуправиться.
Нашим недругам да не думалось бы, не гадалося,
В Азов-городе ой да не проведалось бы, не узналося.
Пропитай-прокорми Войско Главное,
Сбереги-сохрани наше Войско Славное,
Городкам от наших недругов будь преградою в пору нужную.
Да не отважится на них сила вражья-басурманская,
А от нас на прощанье прими, Дон Иванович, чару вина, чарку стружную.
Поднесет ее от нас, добрых молодцев, честная рука — атаманская.

Как кончалась песнь, поднимал Епиха Никитич высоко в руке чару вина хмельного, а как песня окончилась, кинул он ее в Дон, что было моченьки в атаманской руке и в его могучем плече.

Повелось от дедов-прадедов казаков в поход при отплытии последнему подносить чарку Дону-Батюшке, а из похода их по прибытии подносить ее ему же первому. И меж теми последнею и первою чарочками исстари повелось, было заповедано не пить в походе вина хмельного, никоторому не брать его в рот — а не единой капельки.

Выплыли струги на быстрину реки и понеслись они вниз по Дону Тихому. А у Яра Монастырского, от городка Нижнего около десятка стругов к ним еще прибавлялося, всех же молодцев донских, а с ними и иных, семьсот в тот поход отправлялося.

Сказ 18.

Что совершалося в Черкасском по отбытии из него казаков.

По отбытии казаков в поход бывала Фатима в городке Черкасском; гостила у атаманской дочери, На-

тальи Епифановны, и в пору ту у попа черкасского к принятию крещения она готовилась: учила „Отче наш“ и „Богородицу“.

Сказывала Наташа турской девице — про Тихий Дон, про обычаи, присуд казаков, повадки всякие, про время стародавнее, про что самой девице ее родитель сказывал. Умела она и турской речи, а лучше друг дружки речь уразуметь Глаша им была помощницей.

Выходили Наташа и Фатима, и Глаша с ними не расставалася, на берег Дона Тихого. Втроем под ракитою они сиживали, поглядывали вниз Дона Тихого, с надеждой ожидаючи, не покажется ль струг вестовой от Яра Монастырского, иль все с похода не возвращаются ль?

Не раз Фатиме вспомнилось про то, как увидевши, что и Филя в поход на море собирается, стала умолять ежели ему она мила — не покидать ее. Вспомнилось и что молвил молодей ей:

— „Родимая моя, из чужедальной сторонушки прилетевшая касаточка, мила ты мне, дороже света белого. Да того ещё дороже казаку его честь казачья, и за тебя мне ее не отдавывать, хоть готов я отдать и жизнь и душу за тебя, моя журавушка. Не волей молодцев поход наш совершается, не для одной добычи зипунов войско в море отправляется, а Войскового Круга по решению — положить препоны злокозням Султана Турского. Потому и выбрали походным атамана Войска Главного, родителя Наташеньки. Как узнаешь ты, милая моя лебедушка, обычаи, присуд наш и тебе они полюбятся. У красных девиц и жен казачьих, не без того, бывают горести не малые, а и бывают у них и радости великие“.

Не стала Фатима Филю более упрашивать, как речи молодца она послушала, да сама увидела, как провожали казачки-жены мужьев своих, а девицы своих родителей и милых, в сухопутный поход в землю Ногайскую. В горести были они великой, у иной от тоски лицо все иссушилося, а слезинки не единой ни у ко-

торой из них при том не проронилося. Молвил Фатиме Филя: — „По живым слезы лить на Дону у нас не в обычае, берегут их по упокойничкам“.

Прийдет ли на долю Фатимы радость-счастие то не ведомо, а тоску, муки сердечные она уже изведала.

Собрались в небесах тучки непроглядные, да не вечные они, рассеются-развеются и станет светлей, радостней больше прежнего. Вернутся из похода молодцы и возгорится над Казачьим Островом не заря скоропроходящая, а дни светлые летние, полные тепла и радости.

Грустила и Наташа. Думушки тяжелые, как тучки тоскливые в пору осеннюю, печалили девицу.

Не всем молодцам с боев с недругами возвернуться в небесах написано, не один из них примет венец мученика...

Эх, да и слава же ты, и честь казачья! Да потому казак ее не лишается, что своей смертушки он не чурается, обручившись с нею еще при рождении.

Ой, и ревнива же его нареченная — ни днем ни в ночь с нареченным своим она не разлучается, ждет-не-дождется, когда поцелуем всего одним она с ним обменяется. Молодцев донских разлучница. Разлучаешь на веки вечные — с другом его добра молодца, с милым ее казачку-девицу, жену-лебедушку с его лебедем, отнимаешь поцелуем своим и сынка единственного у его родителей, оставляешь деточек ты сиротинушками.

Эх, и слава же ты честь казачья! Да не быть бы им, ежели не обручался казак с своей смертушкой еще при своем рождении, не готов бы был всегда поцелуй принять венчальный, с своей жизнею прощальный. Возвернутся ль с похода молодцы и возвернутся ль все с славой, честею?..

Не дождавшись с похода казаков прибытия, крестили Фатиму в городке Черкасском. Воспреемными были — Войсковой Атаман Смага Чертенский и тетка Фили, Дарья Семеновна Скуритиха. И нарекли Фатиму

по православному, да не Феклой по-московскому, а по казачьему Серафимою, а по отчеству стали величать ее Смаговной, по-отцу крестовому.

Сказ 19.

Как овладели донские молодцы 2-мя кораблями турецкими с товарами многими на них купецкими.

Не один уже денек была на море рать казацкая. На полудень плыла, направляясь к гирлу Керченскому. Ни тучки, ни облачка нету на небе: все развеялись, все расстаяли, как в степи о весне покровы снежные. Серебром расплавленным заливаются у моря края безбрежные. Застыла вода — волной не колышется. Убравши паруса, в гребную струги плывут. Скрип да от весел всплеск только и слышется, да от стругов взгрёбы весел бегут. Во всю грудь молодецкую — гребцам дышется.

Не рано то было, а уж близко к полудню, как 2 турских кораблика казакам повстречалися. Сдалека они их заприметили, лишь у края неба синего они показалися. Опустились паруса у кораблей, ровно крылья у птиц раненых: ветра покосного,*) иль погодушки они дожидалися. Ходом быстрым струги казачьи плыли к ним, приближалися. И не один час, а два уже так миновалися, не раз на веслах очередные уже менялися...

Поднялся Епиха Никитич на носу струга атаманского во весь свой рост, заблестел серебром на бунчуге бобылев хвост, поднятый позади походного, и дал атаман знак булавой своей чеканною. Как от выпала утиный выводок, разлетелись струги, врозь рассыпались. Дал и второй знак Епиха Никитич через маячного и погреблись молодцы во всю грудь свою могучую. От хода быстрого вода пенилась, брызги сыпались, волны в стороны разбегалися.

---

*) Покосный — попутный.

Было уже видать в катаргах и силу ратную: янычар в них было полным-полнехенько, стало видать как и у пушек они завозилися. И на передней катарге из пушки ухнуло, пролетело-прошипело, и за атаманским стругом в воду ядро бухнуло. А за первою и другие вслед посыпались. Разошлись струги в стороны, врозь рассыпались больше прежнего. А на стругах у молодцев „наряду" не было, и чем ответить на приветствие турское не имелося. Оскудело „пороховой казной" Войско Славное, не прислала ее в год тот Москва в Войско Главное: а без зелья в поход пушки брать — дело праздное, равно в воду без насаду рыболовное крюки опускать — дело, ведомо всем, несуразное.

Ход у казачьих стругов быстер был и был увертливый: у кажного на корме и на носу имелось по загребному веслу — корма как и нос была заостренной. Как казачий струг по морю плыл — то у него и назаду перед был.

Гребли казаки не смущаяся, от выпала турского наряду не видя горести, к турским кораблям и катаргам вентерем*) приближаяся, и на пищальный пал с ними сошлись вскорости. И началась с обеих сторон пальба, „пальба сильная", дымом густым ровно облаком и струги и катарги все окутались — а как в рукопашную сошлись, то и перепутались.

В пору ту атаманский струг с турским корабликом вплотную сблизился: крутанул он вдруг и притулился к нему. Вцепились молодцы в бок его баграми, крючьями, как орел в добычу когтями острыми.

С других стругов от дыму и не виделось, как взбирались на корабль донские молодцы. Была на нем стража не малая янычарская; к сечи изготовившись, скрывшись она затаилася. А как на корабль казаки взобралися, закричал турский начальный ага: „аллах-аллалы,

---

*) Вентерь — рыболовный снаряд. Вентерь — казачий маневр на суше и на море, приводимый к охвату флангов противника и к окружению его.

аллалла“, и в ятаганы янычаре на казаков бросились.

Схватились молодцы в рукопашную с басурманами, сошлись казачьи сабли и мечи*) с турскими ятаганами, прохаживались по басурманским головам и топоры казачьи...

Лязг, булатный звон да раненых стон только и слышится: кто сраженный упал, не встанет уже, не отдышется. Не мало уже басурман на пол свалилося, не мало голов их с плеч скатилося.

Бились молодцы с янычарами, а Епиха Никитич, не сводя очей на сечу поглядывал, у канатов стоял, в круги сложенных. И подскочила к нему детина здоровенная: знаменит он был в Царе-городе своей силою небывалою, славен был и своей хоробростью разудалою. Увидал он казака с булавой в руке, а бунчуг атаманский на струге оставлен был, и взмахнул ятаганом янычар над головою атаманскою, да был отбит удар пагубный казачьей саблею.

И случилась в пору ту злосчастье — беда великая, для казака же в бою наигоршая: как об ятаган атаманская сабля ударилась, в пору ту она и перебилася, и у Епихи Никитича в руке, почитай что, рукоять одна очутилася.

Быть казакам-молодцам без походного, Войску Главному без атамана мудрого, атаманской дочери быть без родителя... Да молодцам на роду так написано: казаку прожить не без счастия, а атаману быть в бою не без помощи.

Подлетел Тимофей Иванович быстрей сокола, скакнул он живей пардуса, и не виделось, не приметилось, атаману лишь послышалось, как свистнула молодца сабля звонкая. И покатилась голова, да не атаманская, с плеч свалилась — басурманская.

---

*) В походе на море и в речных походах у казаков были на вооружении короткие мечи и топоры, иногда и рогатины. 2 меча Степана Разина, хранились в Петербурге в Артилл. музее.

Не услыхал Тимоша от походного словечка не единого, в бою гутарить было не во времени, лишь взглянул на него тот благодарственно. Схватил Епиха Никитич ятаган рукою своей атаманскою и на подмогу молодцам в сечу бросился. Да повсюду она почти уже кончалася... Руденела вода от кровушки турских людей с катарг сброшенных.

На исходе всего был час второй, как сеча начиналася, а молодцы дело свое уже кончили, силу ратную басурманскую они прикончили.

Взяли в том бою казаки донские с молодцами „преслоутых" рек 2 корабля с 2-мя катаргами их охранявшими, а третья — вестовая, легкоходная от боя ушла, не сделавши не единого выпала.

Освободили казаки христиан-гребцов из их железных оков, совершали то по завету дедов-прадедов, а басурман всех в море выкинули морской твари, рыбам-чудищам на с'едение. Не более десяточка начальных людей всего оставили, за кого получить большой выкуп чаяли.

Начальным над кораблями был старик, видать роду турского. На голове его, как сена копна, чалма цвету зеленого возвышалася, был он, у лже-пророка Магомета в Мекке-городе, знать, на поклонении. Как лютый зверь, в капкан пойманный, сверкал бельмами он на молодцев.

Был в бою он ранен пистольной пулею, приходилось расстаться ему и с животом своим, занес над головой его Калина-Стоян свою саблю вострую. Да отбил Филя удар тот, зашумев на станишника: „Убивать старика „дуром" вовсе не к чему: Войску выкуп взять за него, будет прибыльней". Не терял Филя и в сечи злой своего ума-разума, и спас тем живот старику-турченину.

Бельдер-татарин *) омыл и обвязал рану ему, напо-

*) Бельдер — лекарь.

ивши водой свежею: и положили его на корме корабля, на сложенном парусе.

Добыча не малая на кораблях оказалася, за последний пяток лет казакам такая и не доставалася. Было на них товару всякого „москотельного“ — свейского, аглицкого, цесарского и венецейского: атласу, киндяков, тафты, шелков, кож сафьяновых и всего иного прочего. Шли товары те в землю Ногайскую и Черкесскую через Кафу из Царя-города. Да сыскались еще на корабле большом кафтаны серебром, златом, шелками шитые, посылал их в дар турский султан ногайским мурзам да черкесским князьям.

Особо ж большой казны денежной не оказалося, и три сотни червонцев не сыскалося.

Отправили перед вечером молодцы катаргу неповрежденную с гребцами полоненниками, нагрузив ее товарами всякими, посылали гостинцы на тихий Дон, а для охраны ее послали 2 струга с молодцами.

Сказ 20.

Как необычное совершилось казачьей песнею.

Собрались, повечеревши, атаманы стружные с есаулами к своему походному на корабль погутарить, побеседовать, как и чему заутра быть посоветовать. И порешили наперед ни о чем не „загадывать“, а дожидаться с зарей утренней ветра покосного иль „погодушки“ — мудренее де утро вечера. Собрались все в круг песнею потешиться, и запел-заиграл ее Тимофей Иванович...

По городам, деревням бегут улицы с переулочками
Вровень идут и пересекаются.
По полям, по долам дорожки везде расстилаются.
Далеко друг от дружки лежат и соединяются.
А в Родимой земле потекли Тихий Дон и Волга Матушка.
Вытекли врозь, да потом соединяются.
Не белыми рученьками, а речкой Иловлей да Камышинкой

Перволочкой малою друг от дружки всего разделяются.
Не хожалые, не езжалые, ой да, казаков донских то дороженьки.
Донские, волжские, гребенские, яицкие, запорожские на них молодцы собираются,
В стругах своих по ним ой да, они направляются
С Дона Тихого в Волгу-Матушку теми речушками, переправляются.
В гости к недругам с них да они отправляются.
Ой да, на заре утренней было то, братцы, собирались молодцы, на усть Камышинки.
Приставали к бережку, выходили, собирались они да во единый круг:
Погутарить, побеседовать, о делах своих да посоветовать,
А наперед того речи выслушать атаманские,
Атамана свово, казака Ермака да Тимофеича...

Неслась казачья песнь по морю от полноликого месяца блиставшему, золотившемуся, а как она окончилась, то и услыхали молодцы необычное: турский старик, в бою раненый, что лежал на парусе, поет, причитывает про себя по-казачьему:

... „Близко сходятся речкой Иловлей да Камышинкой... не хожалые, не езжалые казаков донских то дороженьки“. Расступились молодцы врозь, слушают старика удивляяся. Пропел дед и навзрыд зарыдал, как дите малое; „Милые речушки, на всем белом свете нету краше, милей вас, мои родимые“!

Приподнялся старик, оперся локтем своим, и молвил казакам донским:

— „Ах, вы, братцы мои, атаманы-молодцы! Вы услышьте меня старого, а как быть с того сами о том подумайте. И я, братцы, казачьего роду-племени. По речушкам тем и я плавал-хаживал, казачьи песни и я певал-игрывал. На весь Тихий Дон, на все Войско Великое был я знатным песельником, песня вами „сыгранная“ во младости моей мною была складена. Не оскудел, видать, и ныне Тихий Дон знатными песельниками:

молодец ваш, что песнь „заводил“, воистину, краше поет, чем и я певал в своей младости, только песня то малость „переиначена“...

Много лет, братцы, прошло, миновалося, много в море воды утекло с Дона Тихого, как полонили меня ногаи-татарове. Эх, три десятка лет будет тому без малого...

В Турской земле я принял иной, Магометов закон... Господь то один у всех, лишь по разному ему люди веруют, покланяются, а выходит так, что людские дела, самые лютые имени Господа, иль во имя его, как раз и совершаются. Да не во времени и не к чему о том сказывать“...

Затих старик, прервав речь свою, будто как минулое ему вспоминалося. Разорвал он свой ворот рукой, чтоб легче, знать, ему дышалося, и стал далее сказывать:

— „Эх, да ежели б знали вы, братцы, ведали, как песня ваша сердце мое разбуравила, очистила его, ровно кору толстую топором сняла с дерева; ночную тьму в душе моей зарей утренней она рассеяла, как густой туман на море буйным ветром она развеяла... На Тихом Дону был я славен своей песнею, а у турских людей стал я знатен прозорливостью: дал Господь мне силу наперед видать и ведать многое“...

И глядя очами в небеса, как будто видя иль читая там, стал сказывать старик донским молодцам:

— „Не страшно, братцы, Дону Тихому ратоборство его недругов, устоит против него Войско Великое в годы присные и в века будущие. Разобьются о казаков донских не единожды силы вражьи, как в бурю грозную корабли об утесы каменные разбиваются. Доведется казакам от иного испить чашу горькую. Не единова у казаков разум помутится, совесть казачья затуманится, не единова на Тихом Дону кровь казачья прольется рукою братскою, будут и у казаков брани междоусобные.

Не будут в пору ту разуметь друг-друга братья

родные, хоть и на одном языке будут речи сказывать. Почитать будут тум-изменщиков Дону Тихому, поставят их собою властвовать, а кто Войску славному ратоборствует, будут злокозни тем и от злой мачехи и от своих перевертней; почитать будут их, как станут они уж упокойничками... Позабудется, что надлежит особо памятовать — ежели разбушевалась, разыгралася погодушка, греби-пригребай к своему берегу: на своем лишь бережку спасешь и живот свой и свою волюшку, а пригребешься к чужому берегу, хоть и спасешь, может, живот, да потеряешь казачью свободушку, да и „жисть“ то будет каторжная, жисть темничная... Услышьте, братцы, мою заповедь; на Тихий Дон прибывши братии ее поведайте, детям, внукам своим заповедайте: пока будут казаки петь-играть песни дедовские, пока на Тихом Дону они будут слышаться — будет жить Казачество, будет здравствовать, не одолеют его силы вражьи басурманские, не одолеют его и христианские, хоть и придется претерпеть ему, ох, и великие беды, горести... Песнь казакам дана от Господа: на радость ему; в горе, в беде на утешение. Умиротворяет она сердце казачье от всякой лютости, соединяет казаков в любовь единую к Дону-Батюшке, соединит она, прийдет пора, и в любовь к единой родимой матери. А для памяти наших дедов-прадедов казачьей песней лучшее им чувствование, ровно панихида она им заупокойная“.

Промолвил дед и на грудь склонил свою голову, сорвал чалму рукой и сотворил крестное знамение.
Дали молодцы старику из корчика воды испить. Отдышался он и далее повел речь свою.

— „Беды те и те напасти, чашу горькую испить заповедано — не нам и не нашим деточкам, а в века будущие тем, кому будем мы уже пращурами. Над вами, други-молодцы, иная гроза собирается. Не ведаете вы, братцы, что недругами над вами замышляется. Послужу я Дону-Батюшке, сослужу я Войску Донскому всему Великому службицу свою последнюю, о злокознях недругов я вам поведаю. Стоит, братцы, стоит к

походу изготовившись турская рать в Кафе-городе. Начальным над ней Мегмет-паша, паша кафинский, подначальные у него Мустафа-паша, в Азов вновь назначеный, что в годы смутные у казаков в Черкасском на „окупу“ сидел, а третий Измецкий-паша; а сила турская собралась не малая — 10 катарг стоят многовесельных, а янычар в них, окромя гребцов, больше тысячи. Повелел им турский султан на помочь плыть Азов-городу и вместе с его силой ратною засыпать гирло Дона Тихого, чтоб донским казакам в море через него не было ни входа и ни выхода. Да повелел еще им султан перегородить гирло то цепями железными, а вниз и вверх от места того построить башенки и поставить ни них пушки медные. Собирайтесь в круг побеседовать, посоветовать — как Войску Славному против недругов поусердствовать, чтоб в землях чужих ему не славиться, чтоб сила вражья над нами не посмеялася, своей силой ратною на нас бы не похвалялася...“

Замолк дед, окончив поведанье вестей о недругах и говорит походный Епиха Никитич, деду поклонившися.

— „Спаси Христос тебя, атаман-казак, за речь твою к нам доброхотную, за вести твои о злоумышлениях наших недругов. Да сохранит тебя, Владычица, атаман, еще на годы многие. Приведи Господь возвернуться тебе на Тихий Дон, сладкой его водички попить, на казачью жизнь нашу порадоваться“.

— „Не утешай меня, старика, атаман, — молвит дед, — спаси Христос и тебя за речь твою добрую. Не бывать уж мне на Тихом Дону, не пивать мне его сладкой воды, на жизнь казачью не доведется мне порадоваться: заря утренняя еще не загорится на небе, а жизнь моя уже окончится. Похороните вы меня, братцы, вместе с убиенной нашей братией, в Ногайской земле, повыше города Темрюцкого, у берега моря Синего. И могилы той поблизости будет слышаться не погребальный звон, а пал пушечный да раненых стон, и будет клубиться пушечный дым вместо дыма пани-

кадильного...“ Как освежили водой рану старику и дали испить, молвил он еще молодцам.

— „Не одна жена была у меня в Турской земле по закону Магометову, да не благословил меня Господь родом-племенем. А на Тихом Дону была у меня женушка, Богом данная — Аксюта Ивановна, краше и милее ее уже не было, да при мне она еще скончалася. Был у нас сынок, звать его было Иванушка, жив ли он, братцы, что с ним сталося, поведай мне, атаманушка? Был атаманом я городка Пятиизбянского, звали меня Дмитрием Лаврентьевичем, а по прозвищу был я Разиным“.

И поведал Епиха Никитич старику, что вырос сынок его добрым молодцем, да дал ему Господь жизнь недолгую, в морском бою у Самсун-города кончил жизнь свою он смертью праведной. Услыхав то помянул старик сына своего крестным знамением. И говорит ему Епиха Никитич:

— „Да благословил Господь тебя, Дмитрий Лаврентьевич, внуком, добрым молодцем, а мне Господь нынче дал сына названного, спас мне внук твой живот в сечи нынешней. Знать нашему молодцу, что песнь заводил тобою складенную, внуку твоему, Тимофею Ивановичу, на роду талан был даден дедовский“.

Опустился Тимоша на колена и склонился к деду своему, нежданно - негаданно отыскавшемуся. Гладит дед внуку своему волосы его „курчавые“, глядит на него не налюбуется. И говорит Димитрий Лаврентьевич, как будто потешаяся.

— „А все же в младость мою на Тихом Дону молодцы были понаходчивей, подогадливей — умели сыскать похоронки вражеские. А вот сколько вас тут, добрых молодцев, и никоторым из вас моя похороночка нѐ отыскалася“. И пошептал что-то дед внуку своему, за шею обнявши.

Встал Тимоша и опустился в нутро корабля; глядят — подымается оттуда вскорости. И видят держит он в руке 2 ожерельица из самоцветных камней и скат-

ного жемчуга, не менее он был как в горошину. Хранил дед те ожерельица в тайнике на корабле своем, берег про черный день, иль на всякий случай. Взял он их из руки Тимошиной и молвит, протянувши Филе ожерельице меньшее.

— „Возьми себе во владение добрый молодец. Не за спасение живота моего тебе я его дарствую: суждено мне скончаться вскорости, чую как смертушка ко мне уже приближается, а что прерваться жисти моей не во времени воспрепятствовал и тем пособил мне сослужить службу Войску Славному и отыскать внука моего родимого“.

Взял Димитрий Лаврентьевич ожерелье большее и, надев на шею внуку своему, молвил ему:

— „Не тебе, болезный внучек, мой подарочек, а твоей женушке, как обзаведешься ею с Божьей помочью, а время то, Тимоша, совсем-совсем близкое. А отец названный — родство не прочное, родство не долгое, будет у тебя и родство новое. Твоей женушке, моей внучке, мой подарочек, чтоб родила она тебе сынка молодца, а мне правнучка...“ И молвит дед очами в небо вставившись, как будто ему там что-то виделось. „Будет у тебя, Тимоша, не один, а двое деточек... Ох, участь горькая, смерть ужасная, казни лютые“.

Стали очи у старика недвижимыми, исказился лик его, будто как страхи кромешные ему виделись.

— „Не донести до конца креста своего, молодшему, ноши на себя поднятой... Истязания тяжкие, погибель лютая... и басурманам не измыслить такой лютости. Да и при казни, смерти своей приятии, не посрамит атаман казачьего своего роду племени. Своя же братия атамана покинула, свои же его предали, и прах его злые недруги развеяли, да не развеять памяти об атамане доблестном, пройдет пора и недруги ей поклонятся... память о нем во веки пребудет незабвенною... Не перевестись на Дону роду Разина, крови Сары-Азмановой, да другим прозвищем потомство его прикро-

ется. Сары-Азман дедом мне доводится, а тебе Тимоша прадедом. И не будут ведать, позабудется за каким прозвищем кровь разинская на Тихом Дону скрывается... Да прийдет время и откроется... Пройдет много, много лет, не одна сотенка, когда приключатся с казаками донскими такие беды, напасти, что страшно про них и сказывать... Спасет, вызволит казаков донских от бед напастей, Тихий Дон от запустения...“ Застонал, закашлявшись Димитрий Лаврентьевич, и затих, очи свои смеживши. Видят молодцы — рана у старика открылася, кровь струей по груди из ней сочилася. Обмыл бельдер рану ему, присыпал зельем и „снодобием“ и дал воды испить из корчика. Открыл очи дед, вздохнувши тяжело, поманил дед внука своего и трижды перекрестил его, а после и молвит ему:

— „Спой-сыграй, Тимоша, сказ про атамана нашего Сары-Азмана, как на Дону Донское Низовое Войско зачиналося, как из Путивля, Новгорода Северска на места свои дедовские возвращалося, у своего Азов-города поселялося и 7 городков оно построило и с молодцами Новгорода Великова во едино соединялося. Как послухаю я твой голосок, то и Тихий Дон и младость мне моя и вспомнится...“

Запел-заиграл Тимоша, а на корабле кто был, подхватили враз, и со стругов, что вокруг корабля стояли причаливши, песне подтягивали. А дед очи закрыв песню слушает, улыбается. А как песню кончили, глянули на дедушку, и видят Димитрий Лаврентьевич уже преставился, так и застыл под песнь казачью с ликом радостным...

Обнажили молодцы свои головы, творя крестное знамение, шепча набожно: „Упокой, Господи, душу усопшего раба Божия Димитрия“. Сложил покойнику походный руки по-православному, а молодцы накрыли тело парусом.

Отошли казаки от упокоившегося, не узнавши, не проведавши, кто, иль что спасет казаков донских от погибели, Тихий Дон от запустения, да думали более о

том, что должно совершиться вскорости по предречению дедовскому.

Вот что через песнь казачью совершилося над стариком казаком донским, скоротавшим в полону 30 лет, вот каково было предречение деда, атамана донского, Степана Тимофеича, Дону Тихому, Донскому Войску всему Великому.

Сказ 21.

Как совершилось первое предречение деда Разина

После битвы на море, казаками турской силы одоления, зачинался день нерадостно, невесело. Собрались перед зарей у поднебесья тучки непроглядные. Разыгралася погодушка: помутилось море, взволновалося, с ночной теменью как будто и не расставалося. Разбушевалось море не от ветра буйного, не было его особо сильного: в морских пучинах „чевось" не ладилось, и рыбам-чудищам там не терпелося. Из глубин морских они выбрасывались, с одного гребня морской волны в другую летали, перебрасывались.

Понеслись корабли со стругами казачьими по ветерку покосному. А после полудня, как стихло на море, приставала рать казацкая к бережку повыше города Темрюцкого. Становилась она казачьим табором на берегу от кораблей своих по близости.

В сторону темрюцкую камыши с „кугой", как лес дремучий, тянулись вдаль не прерываяся, а с азовской виднелись, отмели песчаные, в туманном мареве скрываяся.

Вырыли молодцы могилу братскую в честном бою живот сложившим. А как погребенье совершалось, надел Тимоша ладонку, у садика родиловского ему явленную, на шею дедушке усопшему, чтоб была легка ему земля могильная, была б она ему родимою.

Совершалось дело всем привычное, а атаману же походному в пору ту открылось и необычное. Ладонка

им как будто где-то виделась: а где — никак не вспомнится. Да и кому ж все на свете виденное, кому ж то все упомнится? А как склонился атаман к рабу усопшему целование совершить прощальное, то на ладонке и образок приметил явственно, и в пору ту ему подумалось: „Как же так? Того чья ладонка, всем ведомо зовут Тимошею, на ладонке же той, сам видел я, образок висит Наталии святой?“

Да Епиха Никитич казак бывалый был и мудрым слыл, и не такие разгадывал премудрости житейские.

Не один уж денек стояла рать казачья, поджидая силу вражью. Стругов же молодцев — ни тут ни там нигде не виделось: пропали, сгинули и следов их не видать: 2 корабля добыв, в море бросили их, знать.

С утра на море туман клубился, у края моря синего густился, а как ветерком его от берегов развеяло, раздался с мачты призывный зов маячного:

— „Эй, вы, сторожевые, слухайте: по морю катарги идут, все в нашу сторону плывут. Походному и стружным, не мешкая поведайте. Всех десять их, о том вы, братцы, ведайте“.

Отдал приказ Родилов и знак дал булавою. Задвигались, зашевелились в казачьем таборе, забегали как муравьи в гнезде весною потревоженные. Бегут туда-сюда, неведомо зачем, неведомо куда?

Казаки ли сами вспомнили, иль атаманы „нагадали“ да только молодцы, видать с испугу, в камыш, в кугу „стремглав“ все побежали...

Ходом быстрым в гребную рать турецкая подвигалася, к кораблям стоявшим у берега приближалася. Паруса у них были долу спущены, знать, плыть-уходить рать казачья не собиралася.

В передней катарге сам Мегмет-паша*) сидел и на кораблики в немецкую трубку глядел и высматривал через нее, что было надобно. Были с ними — и Му-

---

*) Дела Московского Посольск. Прик. Д. тур. св. 5, л. 14 за 1616 г.

стафа-паша, в Азов вновь назначенный, и паша Измецкого города. И говорит паша кафинский подначальным своим.

— „Ишь, ведь, куда — на корабли, камышники повзбиралися, да владеть то ими дело не их ума-разума. А струги свои побрасали они на свою же пагубу: уйти-спастись теперь им некуда да и на чем“.

А на катарге, на коей сидели паши турские, был в гребцах-невольничках полоненный казак, речи турской научила его нужда горькая и, о всем виденном и о всем слышанном, поведал он, когда время пришло, атаманам и станишникам.

Порешили паши по кораблям из пушек не бить, чтоб не причинить им какой пагубы, а ходом быстрым к ним плыть и на них казаков полонить. И говорит паша кафинский подначальным своим:

— „Заберем в полон их всех, „злых камышников“, и отошлем мы их к султанскому величеству в Стамбул на лютую казнь. Правоверный народ пусть порадуется и подивится, какой храбростью, чьею ратной мудростью казаки в полон были забраны“.

И на катаргах все уверились, что не один казак из турецких рук теперь уже не вырвется. Лишь одному казаку-невольничку по иному о том думалось, по-своему, по-казачьему:

„Ой, не лезь, паша, на дикого коня, наперед его не заарканивши.
Ой, не бери, паша, казака в полон, наперед того его да не ранивши“.

Погреблись, понеслись катарги быстрей прежнего, и увидали люди турские, что и на кораблях не обошлись казаки без камыша, куги да без „чакана“. Все бока кораблей им заделаны, шалаши несуразные из него понаделаны. Мегмет-паша то приметивши, промолвил „с сумнением:“

„Уж не надумали ль злые камышники корабли наши огнем спалить, так самим то им как при том быть?“

А как катарги к корабликам приблизились на

пищальный пал, бока у кораблей дымом густым, ровно облаком, вдруг окутались: раздались выпалы из пушек неведомых и ядра и пули пищальные на катарги вдруг посыпались.

Совершилось все по казачьему „умыслу“: втащили молодцы пушечки на корабли купецкие, с катарг снятые, перед тем в бою на них взятые. Так поздравствовались, поприветствовались молодцы с силой вражьею по-казачьему.

Камыши в пору ту вдруг раздвинулись и струги казачьи быстрей соколов из них двинулись, понеслись и на катарги с боков ударили.

„Не жалеет казак в бою голову свою бесшабашную,
Спешит сразиться с недругом в рукопашную“.

Пищальные выпалы, ятаганов лязг, сабель звон, топоров казачьих треск, зыки призывные у морского берега раздавалися... Эх, да и сеча ж была, сеча лютая!..

В начале часа другого и оказалося — 3 турских катарги в битве той казаками были утоплены, одна в полон была забрана, а шесть хоть с боя и ушли, да ушли с людьми многими ранеными и убиенными.

Сложили в сече той свои головы — и Меѓмет паша, паша кафинский, и Мустафа-паша, в Азов вновь назначенный, Тихий Дон не увидивши, по султанскому велению гирло его землей не засыпавши, башенки там не построивши, наряд на них не устроивши. А третий паша — Измецкого города, хоть и добрался до Черкасского, да попал туда раненым, ясырем казаков донских. И посадили его там на окуп с турскими людьми начальными — „за тридцать тысяч червонцев и четыреста“. Урон же у молодцев по Божьей милости был совсем „махонький“ и десятка не потеряли они из своих убиенными.

Так совершилось по заповеди-предречению покойного Димитрия Лаврентьевича: похоронили его в Ногайской земле, повыше города Темрюцкого, у берега моря Синего вместе с убиенной братией; и служили молодцы у могилы не службу заупокойную, а совер-

шали битву свою победную. И клубился дым поблизости, да был он не от ладана горения, а пала из наряду совершения... Так совершилось не малое из предреченного.

Сказ 22.

Донских молодцев на Тихий Дон прибытие и что после того случилося в Черкасском.

С уроном малым, с добычею богатою, со славой-честью великою возвернулись с похода молодцы.

Пал с наряду большого и малого, колокольный звон „до кочетов“ неслися по Черкасскому. Притихло смолкло все, как служило Войско молебствие, а после него загудело, загомонило пуще прежнего, а особо как на хмельное чинилось розговенье. С полудня до вечера „дуванило“ Войско добычу в море взятую...

Пришел в курень Епиха Никитич лишь поздно вечером, за весь день всего раз-другой заглянуть за делами и привелось в него.

— „Ну, дорогая дочушка, — молвит Епиха Никитич повечеривши, — мы с делами своими с Божьей помочью покончили, а как тебе Господь помог с делом своим управиться“?

— „ Про какое дело, родимый батюшка, меня изволишь спрашивать“? вопрошает недоуменно Наташа своего родителя.

— „Да приметил я в поход перед отбытием: вышивала ты шелками ладонку. Как тебе она удалася“? Вопрошает атаман и глядит на дочку с любопытствием.

Как маков цвет зарделась Наташа, как зорька зарумянилась. А казалось бы чего в том необычного: отчего же не спросить отцу, не полюбопытствовать, как преуспевает у его дочери шитье-вышивание? А вышло, что кольнуло в очи былинкой или соломинкой. И говорит Наташа своему родителю:

„Повинюсь я тебе, родимый батюшка, „не потаясь“

я все поведаю: ладонка та до твоего в поход отплытия мной была уже кончена. Да ведала я, как идут, бывало, в поход молодцы, то идут они все благословившися от родителей, или старших „сродственников". А в поход с тобою шли и сиротинушки и благословить то их было не кому, и не кому было, сшивши ладонку, наполнить по обычаю землей родимою. И кинула я на дорожку у садика ту мою ладонку, чтоб которому она досталася и участь сиротская без молитвы бы не осталася".

А как промолвила то Наташа, так зарделась еще пуще прежнего. И вопрошает ее родитель, вскинувши на нее своими очами соколиными:

— „А за кого ж молилась ты, Наташенька"?

И не „вспопашилась" девица, как у ней вырвалось:

— „За Тимошеньку".

А как спохватилась, то и добавила: „И за тебя молилась, родимый батюшка"!

А Епиха Никитич молвит потешаяся: „Да в моем возрасте, дочка, у нас почти что все уже сиротинушки".

Да Наталья Епифановна дочь была, ведь, атаманская, кровь текла у нее гордая, родиловская и молвит она, сдвинув брови соболиные, помрачившись ликом будто тучушка.

— „Статься может, батюшка, и не одна девица то удумала и у одного молодца не одна ладонка, а с пяток их оказалося, да с того нет ничего: по закону христианскому то мною совершалося, и молилась я „за плавающего". А ежели сохранил тот сирота-казак свою головушку, как в битве быть ему случилося, то статься может по моей молитве то совершилося".

Промолвила дочь атаманская и взор свой горестно потупила. Не скрылись от Епихи Никитича его дочери муки сердечные, поглядев на нее с участьем с ласкою, молвил он, положивши длань на плечо ее.

— „Стать, Наташа, была бы необычная, чтоб у одного молодца было бы с пяток ладонок, тот молодец чай, ведь, не монашенок. А у того плавающего,

сам видал, одна была да и той у него уж не осталося, деду усопшему при погребении она досталася".

Не промолвил Епиха Никитич на то больше словечка не единого, а самому в пору ту подумалось:

— „Твоя ль ладонка или молитвы твои сберегли в походе жизнь Тимошину, на роду ль написаны ему годы многие, то неведомо, а что мою голову спасла его сабля вострая, да удаль его молодецкая, ныне о том уже все Войско ведает".

Поведал Епиха Никитич своей дочери, что в походе случилось, совершилося, а кой о чем и умолчал, и словом не обмолвился, знать, о всем гутарить было еще не во времени.

Промолвив — „Ну, Наташа, мудренее утро вечера" и поцеловавши ее, пошел атаман ночевать на крыльцо куреня своего родиловского.

Не мало еще Наташа с Глашею шепталися о всем за день виденном, о всем слышанном. Долго до самой зари Наташе не спалося, все грустилось и вздыхалося: думы о молодце не давали сомкнуть очей своих красной девице.

Повидала Наташа Тимошу при встрече войска из похода по прибытии, видалась с ним и на молебствии, да удалось всего лишь им поздравствоваться и словечком не пришлось им перекинуться. Не удалось Наташе и у Фили, братца своего крестового, порасспросить о том, о чем хотелося. Да братцы что тогда, что теперь все одинаковые. Едва молебствие окончилось и десятком слов Филя с сестрицей своей не перекинулся, вскочил на коня и полетел, аж пыль за ним завертелась, заклубилася; даже дети малые все догадалися — поскакал в Маныцкий, чтоб ожерельицем бы его там полюбовалися.

Выпадает ночь бескрайная, многочасная, когда очи никак не смыкаются; выпадает она на долю того, кого мучают болести-хворости, и на долю того, нет их у кого, да терзает горшее — муки сердечные. Выпала

такая ночь и на долю атаманской дочери. Была она у нее не первою, а была ли она у ней последнею — о том и нам будет ведомо.

Сказ 23.

Как и что совершилось иное дедом Разиным предреченное.

На другой день перед полуднем пришел Тимофей Иванович в гости к своему отцу названному. Приубрался, приоделся молодец по праздничному: епанча у него была расшитая, а у ожерелка и на рукавах золотою нитью шитая, шаровары темносиние сукна аглицкого были широкие; сапоги красные сафьяновые были у него высокие; булатная сабелька в серебро оправленная на кушаке из пряжек кованных при боку его болталася, на шее *) ожерельице, дедом завещенное, самоцветью переливалося, в правом ухе молодца с жемчугом большим золотая серьга красовалася.

А как Тимоша по обычаю поздравствовался, на образа в святой угол перекрестившися, то Наташа молодцу и промолвила:

— „Спаси Христос тебя, братец названный, Тимофей Иванович, что из беды великой ты вызволил моего батюшку; на веки вечные остаться мне в долгу перед тобой приходится, отквитаться с тобою чем и как мною не находится“.

Зарумянившись, Тимоша так ответствовал:

— „То казачье наше дело сестрица, Наталия Епифановна, дело обычное, выручать друг друга из беды казаку дело привычное, а атамана в бою беречь, то дело наше первое. Спаси Христос и тебя, сестрица, за речь твою ласковую“. Молвил то Тимофей Иванович, поклонившись Наталье Епифановне. И девица приоде-

---

*) В XVII ст., как видно из документов казаки носили ожерелья.

лась на радости блгополучного прибытия свово родителя. Кубелек на ней был атласный, цвет лазоревый, ожерелочек и зарукавья были отделаны кружевами немецкими; пуговочки на кубелеке были из жемчуга, грушей низаные; Наташин стан обхватывал поясок из золотых чеканных пряжичек, яхонтами украшенных. Волосы у девицы в тугую косу были заплетены от темени до пояса по косе нитями жемчужными оплетены. В ушах „кресты“ „изделие казачье“*) с жемчугом и изумрудом из мочек вниз спускалися.

Усадили молодца за стол и по обычаю почествовали, не одну чарку вина отец с сыном названным выпили, а Наташа с Глашею и мать ее, Марья, пригубили меду сладкого, за благополучие возвернувшихся с похода дальнего. Погутарили в походе о совершившемся, помянули крестным знамением и покойного Димитрия Лаврентьевича. И говорит Епиха Никитич.

„По обычаю празднуем мы три дня с похода по прибытии и в пору ту никоторых делов у нас не совершается, а дело наше и ныне никак не прерывается — пойду к Войсковому, к Смаге Степановичу, погутарить, посоветовать, а про какое дело, возвернувшись вам поведаю, да статься может, будет и без надобности, — молвил Епиха Никитич, усмехнувшись, — и вы тем временем погутарьте, побеседуйте.“

Ушел атаман и осталась Наташа с Тимошею, да еще Глаша с ними была. Да, ведь, и по куреню дела николи не прерываются и у Глаши дела неотложные в ту пору оказалися, и молодец с девицей в горнице одни осталися. И о чем они беседу вели, о чем советовали слыхать было некому.

Времени не мало прошло, как Епиха Никитич из куреня ушел, а как от Войскового к себе домой он

---

*) Из Донских дел Посольск. прик. видно — серьги жемчужные „изделие казачье“. Серьги эти имели форму креста, были из жемчуга с рубинами, изумрудами, сапфирами и алмазами.

пришел, то и возрадовался. Дочушка его цветет как маков цвет майской порой, давно уже не видал родитель такой свою Наташеньку. И Тимоша глядит, будто как забрал в полон султана турского, да султана что, все царство турское вместе с Царем-городом. Глядит Епиха Никитич усмехается, усы покручивая. Перекинулся словечками с молодцем о том о сем, а после и спрашивает:

— „Ну что ж, Тимоша, люба ль тебе моя дочушка Наталия?“

Зарделся, зарумянился лик у молодца и говорит — люба де она ему милей света белого, казачьей волюшки. А атаманская дочь те речи слушая, запылала, загорелась, вот сгорит, как костер от пламени. Вопрошает родитель и свою дочь Наталию.

— „Ну, а тебе, моя дочушка, люб ли Тимофей Иванович?“ И что ж она своему родителю ответила:

— „Не больно он люб мне, да больше мне никоторый не полюбится, а ежели воля твоя родительская не буду перечить тебе и противиться, буду я женой Тимофею Ивановичу“. И увидал Епиха Никитич, пока он вел речи свои с Смагой Степановичем и тут не малое речами совершилося.

— „Погоди, больно скорая да и на язык больно острая, — молвит Епиха Никитич своей дочери, — о замужестве будто как и словечка мною еще не промолвлено, да и Тимошу о том спросить надобно“.

— Да ты ж мне, батюшка, сам не раз сказывал, отвечает Наташа своему родителю, — казаку-молодцу, который с разумом, ведать надобно не токмо то, что другим сказано, а и то, что у того на уме при том. А нам девицам на Тихом Дону поред молодцами плошать не приходится, жизнь наша с ними мало в чем расходится. Да зачем же, родимый батюшка, родитель будет вопрошать у своей дочери — люб ли ей добрый молодец, ежели не о замужестве ее им при том думается? А Тимошеньку что же спрашивать, — молвит Наташа посмеиваясь, — натворили вы делов, а я расхлебывай.

Похоронили вы дедушку Димитрия Лаврентьевича, с моей ведь ладонкой, как же ему в могиле успокоиться, ежели ладонка на нем с родимой землей оказалась от чужой девицы, стало быть, и надо мне стать его внучкою, а Тимоше, хочешь не хочешь, просить меня себе в женушки: внук то у дедушки скончавшегося, ведь один — Тимофей Иванович."

Посмеялись на речь ту, а все же спросил Епиха Никитич и у молодца что было надобно.

Ну тот напрямки поведал, что будет мужем верным Наталии Епифановне до гробовой доски.

Снял атаман икону из святого угла и благословил ею коленопреклоненных Тимофея и Наталию на новую жизнь, жизнь супружескую, а после и Глашина мать, перекстила свою Наташеньку. Недолго после того в горнице гутарили, беседу вели, слышат — раздается на майдане звон маячного колокола, по коему собирались казаки на сбор, в круг для делов своих решения. Вопрошают нареченные у своего батюшки по какому такому делу в праздничный день им народу собираться велено. И поведал им Епиха Никитич, как шел он от Смаги Степановича то и велел он малость „сгодя" забить в колокол ради поведанья о венчании казака Тимофея Ивановича Разина с казачкой, Натальей Епифановной Родиловой. Поведал он и какие дела им у Войскового совершалися, „звал" он в посаженные к своей дочери Смагу Степановича, а к Тимоше Исая Мартемьянова.

— „Какой же я был бы атаман Войска Главного, — молвил Епиха Никитич посмеиваясь, — ежели б не ведал не токмо что у иноземных послов, а и у моей дочушки в голове и в сердечке у ней деется и к чему все дело клонится?"

Разрыдалась Наташа, к своему батюшке на шею бросившись: уходили со слезами без остатка былые горести; были то и слезы от великой радости, и слезы благодарственные за любовь и ласку родительскую.

Привалил народ на майдан со всех станиц Войска

Главного. Гомонит, шумит, переговаривается: всем было ведомо, по какому делу народ на майдане собирается.

— „Идут, идут, — кричат станичники. Расступаясь, пропускает народ Тимошу с Наташею, с добросердием с ними здравствуясь.

Взошел на помост Тимофей Иванович, ведя за руку Наталью Епифановну, и стали они рядышком, как солнце красное и месяц ясный на небесах необычно встретившись. Застучал есаул Войска Главного и молвил зычным голосом:

— „Помолчи, Войско Главное, во время присное и в века будущие Войско Славное: казака Тимофея Ивановича Разина по делу его великому речь „послухайте".

Замолкли, затихли вокруг, устремивши очи свои на стоявшую парочку, на нее любуяся. И говорит Тимофей Иванович своим сладкопевным голосом:

— „Братья и сестры! Полюбилась мне боле света белого, казачка вольная, дочь атамана Епихи Никитича, девица Наталья Епифановна Родилова, и хочу я ее себе в жены взять, своей волей вольною, а любить, беречь и верным мужем буду ей до живота своего скончания... Люб ли я тебе Наталия Епифановна, согласна ли ты быть моею женою своей волей вольною?

И молвит она ему, вся зардевшися.

— „Люб ты мне, Тимофей Иванович, хочу я быть волей своей женою твоей и буду тебе верной женой по гроб жизни своей".

И вопрошает после того Тимоша по обычаю казачьему:

— „Атаманы-молодцы, казачки вольные, есть ли тому у кого „перекор" какой?"

— „Нету, нету... в добрый час, — отовсюду слышится, — живите-радуйтесь годы многие, прибавляйте роду-племени казачьего, совет да любовь..." Перекора знать, не было, не оказалося.

Снял Тимофей Иванович ожерелье свое, дедом за-

поведанное и на шею надел своей лебедушке. Прикрыв полой своей и, взявши за руку, свел Тимоша Наташу с помоста. И после того трижды обошли они вокруг обкрутились вокруг ракиты росшей вблизи помоста, вокруг коей все по обычаю казачьему венчалися. После того вновь на помост взойдя, Тимоша с Наташею трижды облобызалися, и стали их все собравщиеся поздравлять со вступлением в супружество.

Снова постучал есаул войсковой, а как смолк народ, взошел на помост Епиха Никитич и молвил:

— „Атаманы-молодцы, станишники и станишницы, все казачество Дона Тихого и „преслоутых"*) рек! Совершилось венчание по обычаю, присуду нашему, казачьему: Тимофей и Наталия стали мужем и женой перед всеми людьми, перед всем нашим народом казачьим. По нашему ж присуду и обычаю надлежит стать им мужем и женою и перед Господом. Совершится нынче же ввечеру венчание их и по церковному. Да будет вам станишники и станишницы, ведомо: нынче в городке Маныцком по присуду, обычаю казачьему совершилось еще венчание, семейного люда у нас еще прибавилось — совершилось венчание казака Филиппа Ильича Ажоги с казачкой вольною, воспреемной дочерью Войскового Атамана Смаги Чертенского, Серафимой Смаговной. Нынче же прибудут они в Черкасский, обе пары в одно время и повенчаются.

Жалуйте, станишники и станишницы, и все молодцы всех знаменитых рек, все, которые в Войске Главном оказалися, к часовне на венчание, как ударит маячный в колокол, а после того жалуйте все по нашему обычаю казачьему на пир-чествование, к сборному месту для братской трапезы у берега Дона-Батюшки".

После полудня прибыли из Маныцкого струги и каюки**) разукрашенные с Филей и Серафимою. А перед

*) Прославленных.

**) Лодка для плавания по реке.

вечером обе пары и повенчались по церковному, стали мужьями и женами и перед Господом.

Собрались к берегу Дона Тихого казаки и казачки Войска Главного и всех „преслоутых“ рек — казаки — яицкие и волжские, гребенские и запорожские. Расставили столы казачьи,*) разослали ковры, полсти и „лантухи“. Все несли чем богаты были на общую трапезу и складывали, и все молодых кто чем мог одаривали.

За большим столом две пары молодых сидели рядышком, по бокам сидели с одной стороны — Войсковой Атаман Смага Степанович, с другой Главного Войска — Епиха Никитич, а с ними с одним Дарья Семеновна, а с другим Марья Ивановна, а далее по бокам сидели атаманы станишные: Федор Татаринов, Мартемьянов Исай, Волокита Фролов со своими женами, войсковой дьяк, войсковые есаулы и прочие. Да всех и не перечесть.

А на обеих молодушках — ожерелья красовалися, мужьями им подаренные, что от деда Димитрия Лаврентьевича им досталися. До зари утренней затянулась пир-беседушка. Светло было как днем от костров, на коих баранов, говядину и иное прочее готовили.

Да и без них было б светло — полноликий месяц-колдун не отрывал лика своего от городка Черкасского. А на небе ни тучки, ни облачка в ту пору не было и листком на деревьях не шелохнулось.

Гутарили, беседу вели и посла московского вспомнили, над ухищрениями его посмеялися, не забыли и о походе погутарить — побеседовать. Над Серафимой Смаговной потешалися, стращали — встанет она какнибудь утречком, а ее Филюшка хромым и кривым, а она сама немою, окажутся. И над Тимошей с Наташею

---

*) Еще в конце прошлого столетия в летнее время у казаков были в пользовании столы, за которыми сидели на земле; столы высотой около 1—1½ четвертей.

потешалися. „Горько*) — не мало кричали, будто как все питье было полынное. Не бывает и ныне пир без казачьей песни и пляски молодцев, не бывал он без них и в годы минулые... Пели-играли песни дедовские и всей братией и пел сам-друг Тимофей Иванович, и вместе с Филею, упросили спеть и Наталью Епифановну. Пели и плясали до самой зорюшки. А ежели, братцы, во хмелю какого, казака, заприметите, спросите молодца: не с того ли пира у него хмель не проходит все, еще не кончается.

Вот, какие дела бывали на Тихом Дону в годы старые. Вот что песня казачья с казаком сделала. Вот что было дедом Донского Атамана, Степана Тимофеича Разина, предречено-заповедано, а что свершилось и что свершится должно, то всякому своим разумом ведать надобно.

На роду талан, братцы, свой даден кажному.
На роду судьба написана — всем по-разному.

КОНЕЦ.

*) Горько кричат во время свадебного пира, чтоб заставить „подсластить“, поцеловаться новобрачных.

Биб-ка „Вольного Казачества—Вільного Козацтва“



Цена 20 ам. ц.

Скад издания: Praha XII, Radhoštska 9, Tchécoslovaquie.